



ВАСИЛИЙ
АКСЁНОВ

Остров Крым

18+

АЗБУКА-КЛАССИКА

Азбука-классика

Василий Аксенов

Остров Крым

«Азбука-Аттикус»

1979

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Аксенов В. П.

Остров Крым / В. П. Аксенов — «Азбука-Аттикус»,
1979 — (Азбука-классика)

ISBN 978-5-389-22462-9

«Остров Крым» был написан Василием Аксёновым в 1977–1979 годах и впервые опубликован уже в США в 1981 году, после отъезда автора из СССР. Блистательная утопия и вместе с тем антиутопия, политическая сатира, детектив – все это «Остров Крым». Сюжет романа строится на двух допущениях: что если бы Крым был полноценным островом и что если бы в ходе Гражданской войны он отошел к белым? Действие романа разворачивается в 1970-е годы. В созданной Аксёновым альтернативной истории Крым превратился по отношению к России в преуспевающее государство. И все-таки главным героем движет идея общей судьбы, идея воссоединения с Россией. Его мечта осуществляется, но свободный Крым уничтожен, поглощенный советским колоссом. Каждое новое поколение читателей трактует этот роман по-своему, на каждом новом этапе истории в нем обнаруживаются новые смыслы, а бурное развитие Крымского полуострова в последние годы убеждает любого – независимо от политических взглядов – в том, что автор этой удивительной книги обладал незаурядным даром предвидения.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-389-22462-9

© Аксенов В. П., 1979

© Азбука-Аттикус, 1979

Содержание

I. Приступ молодости	7
II. Программа «Время»	34
III. Хуемотина	37
IV. Любопытный эпизод	44
V. Проклятые иностранцы	52
Конец ознакомительного фрагмента.	60

Василий Павлович Аксёнов

Остров Крым

© В. П. Аксёнов (наследники), 2022

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2022

Издательство АЗБУКА®

І. Приступ молодости

Всякий знает в центре Симферополя среди его сумасшедших архитектурных экспрессий дерзкий в своей простоте, похожий на очиненный карандаш небоскреб газеты «Русский Курьер». К началу нашего повествования, на исходе довольно сумбурной редакционной ночи, весной, в конце текущего десятилетия или в начале будущего (зависит от времени выхода книги), мы видим издателя-редактора этой газеты сорокашестилетнего Андрея Арсеньевича Лучникова в его личных апартаментах, на «верхотуре». Этим советским словечком холостяк Лучников с удовольствием именовал свой плейбойский пентхауз.

Лучников лежал на ковре в йоговской позе абсолютного покоя, пытаясь вообразить себя перышком, облачком, чтобы затем и вообще как бы отлететь от своего восьмидесятикилограммового тела, но ничего не получалось, в голове все время прокручивалась редакционная шелуха, в частности невразумительные сообщения из Западной Африки, поступающие на телетайпы ЮПИ и РТА: то ли марксистские племена опять ринулись на Шабу, то ли, наоборот, команда европейских головорезов атаковала Луанду. Полночи возились с этой дребеденью, звонили собору в Айвори, но ничего толком не выяснили, и пришлось сдать в набор невразумительное: «По неопределенным сообщениям, поступающим из...»

Тут еще последовал совершенно неожиданный звонок личного характера: отец Андрея Арсеньевича просил его приехать, и непременно сегодня.

Лучников понял, что медитации не получится, поднялся с ковра и стал бриться, глядя, как солнце в соответствии с законами современной архитектуры располагает утренние тени и полосы света по пейзажу Симфи.

Когда-то был ведь заштатный городишко, лежащий на унылых серых холмах, но после экономического бума ранних сороковых Городская управа объявила Симферополь полем соревнования самых смелых архитекторов мира, и вот теперь столица Крыма может поразить любое туристское воображение.

Площадь Барона, несмотря на ранний час, была забита богатыми автомобилями. Уик-энд, сообразил Лучников и стал активно включаться на своем «Питере-турбо», подрезать носы, гулять из ряда в ряд, пока не влетел в привычную улочку, по которой обычно пробирался к Подземному Узлу, привычно остановился перед светофором и привычно перекрестился. Тут вдруг его обожгло непривычное: на что перекрестился? Привычной старой церкви Всех Святых, в Земле Российской Воссиявших, больше не было в конце улочки, на ее месте некая овальная сфера. На светофор, значит, перекрестился, ублюдок? Совсем я зашорился со своей «идеей», со своей газетой, отца Леонида уже год не посещал, крещусь на светофоры.

Эта его привычка класть кресты при виде православных маковок здорово забавляла новых друзей в Москве, а самый умный друг Марлен Кузенков даже увещевал его: Андрей, ведь ты почти марксист, но даже и не с марксистской, с чисто экзистенциальной точки зрения смешно употреблять эти наивные символы. Лучников в ответ только ухмылялся, и всякий раз, увидев золотой крест в небе, быстренько, как бы формально, отмахивал знамение. Он-то как раз казнил себя за формальность, за суетность своей жизни, за удаление от Храма, и вот теперь ужаснулся тому, что перекрестился просто-напросто на светофор.

Мутная изжога, перегар газетной ночи, поднялась в душе. Симфи даже ностальгии не оставляет на своей территории. Переключили свет, и через минуту Лучников понял, что овальная, пронизанная светом сфера – это и есть теперь церковь Всех Святых, в Земле Российской Воссиявших, последний шедевр архитектора Уго ван Плюса.

Автомобильное стадо вместе с лучниковским «Питером» стало втягиваться в Подземный Узел, сплетение тоннелей, огромную развязку, прокрутившись по которой машины на большой скорости выскакивают в нужных местах Крымской системы фривеев. По идее, подземное

движение устроено так, что машины набирают все большую скорость и выносятся на горбы магистралей, держа стрелки уже на второй половине спидометров. Однако идею эту с каждым годом осуществить становилось труднее, особенно во время уик-эндов. Скорость в устье тоннеля была не столь высока, чтобы нельзя было прочесть аршинные буквы на бетонной стенке ворот. Этим пользовались молодежные организации столицы. Они спускали на канатах своих активистов, и те писали яркими красками лозунги их групп, рисовали символы и карикатуры. Зубры в Городской Думе требовали «обуздать мерзавцев», но либеральные силы, не без участия, конечно, лучниковской газеты, взяли верх, и с тех пор сорокаметровые бетонные стены на выездах из Узла, измазанные сверху донизу всеми красками спектра, считаются даже чем-то вроде достопримечательностей столицы, чуть ли не витринами островной демократии. Впрочем, в Крыму любая стенка – это витрина демократии.

Сейчас, выкатываясь из Восточных ворот, Лучников с усмешкой наблюдал за трудом юного энтузиаста, который висел паучком на середине стены и завершал огромный лозунг «Коммунизм – светлое будущее всего человечества», перекрывая красной краской многоцветные откровения вчерашнего дня. На задку паренька на выцветших джинсах красовался сверкающий знак «серп и молот». Временами он бросал вниз, в автомобильную реку, какие-то паке-тики-хлопушки, которые взрывались в воздухе, опадая агитационным конфетти.

Лучников посмотрел по сторонам. Большинство водителей и пассажиров не обращали на энтузиаста никакого внимания, только через два ряда слева из «каравана-фольксвагена» махали платками и делали снимки явно хмельные британские туристы да справа рядом в роскошном сверкающем «руско-балте» хмурил брови пожилой врэвакуант.

Вылощенный, полный собственного достоинства мастодонт чуть повернул голову назад и что-то сказал своим пассажирам. Две мастодонтихи поднялись из мягчайших кожаных глубин «руско-балта» и посмотрели в окно. Пожилая дама и молодая, обе красавицы, не без интереса, прищуренными глазами взирали – но не на паучка в небе – на Лучникова. Белогвардейская сволочь. Наверное, узнали: позавчера я был на ТВ. Впрочем, все врэвакуанты так или иначе знают друг друга. Должно быть, эти две сучки сейчас обсуждают, где они меня могли встретить – на вторниках у Беклемишевых, или на четвергах у Оболенских, или на пятницах у Нессельроде... Стекла в «руско-балте» поползли вниз.

– Здравствуйте, Андрей Арсеньевич!

– Медам! – восторженно приветствовал попутчиц Лучников. – Исключительно рад! Вы замечательно выглядите! Едете для гольфа? Между прочим, как здоровье генерала?

Любого врэвакуанта можно смело спрашивать «между прочим, как здоровье генерала»: у каждого из них есть какой-нибудь одряхлевший генерал в родственниках.

– Вы, должно быть, не узнали нас, Андрей Арсеньевич, – мягко сказала пожилая красавица, а молодая улыбнулась. – Мы Нессельроде.

– Помилуйте, как я мог вас не узнать, – продолжал ерничать Лучников. – Мы встречались на вторниках у Беклемишевых, на четвергах у Оболенских, на пятницах у Нессельроде...

– Мы сами Нессельроде! – сказала пожилая красавица. – Это Лидочка Нессельроде, а я Варвара Александровна.

– Понимаю, понимаю, – закивал Лучников. – Вы Нессельроде, и мы, конечно же, встречались на вторниках у Беклемишевых, на четвергах у Оболенских и на пятницах у Нессельроде, не так ли?

– Диалог в стиле Ионеско, – сказала молодая Лидочка.

Обе дамы очаровательно оскателились. «Что это они так любезны со мной? Я им хамлю, а они не перестают улыбаться. Ах да, ведь в этом сезоне я жених. Левые взгляды не в счет, главное – я сейчас „жених из врэвакуантов“. В наше время, милочка, это не так уж часто встретишь».

– Вы, должно быть, сейчас припустите на своем «турбо»? – спросила Лидочка.

– Иес, мэм. – Американский ответ Лучникова прозвучал весьма подозрительно для ушей русских дам.

– Наш папочка предпочитает «руссо-балт», а значит, плавное, размеренное движение, не лишенное, однако, стремительности. – Лидочка Нессельроде пыталась удержаться в «стиле Ионеско».

– Это сразу видно, – сказал Лучников.

– Почему? – спросила Варвара Александровна. – Потому что он ваш политический оппонент?

«Он, оказывается, мой политический оппонент!»

– Нет, сударыня, я сразу понял, что ваш папочка предпочитает «руссо-балт», когда я увидел его за рулем «руссо-балта».

Господин Нессельроде повернул голову и что-то сказал.

– Михал Михалыч интересуется, как здоровье Арсения Николаевича? – Именно в таком виде Варвара Александровна вынесла на поверхность высказывание супруга.

Глянув на летящие впереди на одной скорости автомобили и сообразив, что сейчас начнется подъем и стадо будет прорежаться, Лучников слегка сдвинул руль, приблизился к «руссо-балту» едва ли не вплотную и зашептал горячим шепотом чуть ли не в ухо госпоже Нессельроде:

– Я как раз еду к отцу и, значит, узнаю о его здоровье. Немедленно телеграфирую вам или позвоню. Давайте вообще сблизимся по мере возможностей. Я немолод, но холост. Левые взгляды не в счет. Лады?

Лучников поджал педаль газа, и его ярко-красный с торчащим хвостом спортивный зверь, рывкая турбиной, ринулся вперед, запетлял, меняя ряды, пока не выбрался из стада и не стал на огромной скорости уходить вверх по сверкающему на солнце горбу Восточного Фривея.

ВФ, вылетая из Симфи, набирает едва ли не авиационную высоту. Легчайший серебристый виадук с кружевами многочисленных съездов и развязок, чудо строительной техники. «Приезжайте в Крым, и вы увидите пасторали XVIII века на фоне архитектуры XXI века!» – обещали туристские проспекты и не врали.

«Откуда все-таки взялось наше богатство?» – в тысячный раз спрашивал себя Лучников, глядя с фривея вниз на благодатную зеленую землю, где мелькали прямоугольные, треугольные, овальные, почковидные пятна плавательных «пулов» и где по выющимся местным дорогам медленно в больших «кадиллаках» ездили друг к другу в гости зажиточные яки. Аморально богатая страна.

Он вспомнил Южную дорогу, или, как они говорят в Союзе, «трассу». Недавно они ехали по ней на «Волге» со старым московским другом Лучникова, разжалованным кинорежиссером Виталием Гангутом.

Как назывался тот городок, где мы зашли в магазин? Фанеж? Нет – Фатеж. Разбитый асфальт главной площади и неизменная фигура на постаменте. Был ли там Вечный огонь? Нет, кажется, только областным центрам полагается по статусу Вечный огонь. Да, в Фатеже не было Вечного огня. Хотя бы Вечного огня там не было.

– Сейчас увидишь наше изобилие, – сказал Виталий.

В магазине у прилавка стояли несколько женщин. Они обернулись и молча смотрели на вошедших. Может быть, приняли за иностранцев – странные сумки через плечо, странные куртки... Пока мы ходили и осматривали прилавки, женщины все время молча глядели на нас, но тут же отворачивались, если мы замечали это.

В общем, здесь не было ничего. Впрочем, не нужно преувеличивать, вернее, преуменьшать достижений: кое-что здесь все-таки было – один сорт конфет, влажные вафли, сорт печенья, рыбные консервы «Завтрак туриста»... В отделе под названием «Гастрономия» имелось нечто страшное – брикет мороженой глубоководной рыбы. Спрессованная индустриальным

методом в здоровенную плиту, рыба уже не похожа была на рыбу, лишь кое-где на грязно-красной поверхности брикета виднелись оскаленные пасти, явившиеся в Фатеж из вечной мглы.

– Я вижу, у вас тут не все есть, – с подлой улыбочкой сказал женщинам Гангут.

– А что вам надо? – хмуро поинтересовались женщины.

– Сыру, – пробормотал Луч. – Хотели сырку купить. – Чудесная склонность советского населения к уменьшительным обозначениям продуктов была ему давно известна.

Женщины мило заулыбались. Вот эта способность русских баб мгновенно переходить от хмурости, мрачной настороженности к душевной теплоте – вот это клад! Непонятный чужой человек вызывает подозрительность, человек же, желающий сырку, сразу становится понятен, мил и сразу получает добрую улыбку.

– Сыр? Это у нас в военном городке бывает почти регулярно, – охотно стали объяснять женщины. – Двенадцать километров отсюда военный городок, сразу увидите.

– Понятно, понятно, – закивал Луч. – Мы на машине, это несложно...

– А масло? – продолжал провоцировать Гангут. – А насчет колбаски?

Однако лед был расколот, и ехидство московского интеллектуала пропало втуне.

– А это вам надо, друзья, в Орел ехать, – поясняли женщины. – У нас тут, врать не будем, колбасы не бывает. Масло иной раз подвозят, а за колбасу этого не скажешь. Надо в Орел ехать, и то с утра только. В этот час уж все продано. Вы сами-то, друзья, куда едете?

– В Москву.

– Ну, там всего навалом! – радостно зашумели женщины.

Они повернули к машине.

– Ну, как по-твоему, что моральнее: супермаркет «Елисеев и Хьюз» или гастрономия в городе Фатеж? – спросил Гангут.

– Не знаю, что моральнее, но «Елисеев и Хьюз» – аморальнее, – мрачно ответил Луч.

– Значит, вечное издевательство над людьми и вечная тупая покорность менее аморальны? Тогда позволь тебе преподнести советский сувенир из глубины России, отвези его на Остров и угости друзей.

Гангут протянул Лучникову плоскую банку консервов. По боку банки вилась призванная возбуждать аппетит надпись: «Кальмар натуральный обезглавленный».

Воспоминания об этой банке, о городке Фатеж и еще какая-то гадость угнетали Лучникова. «Питер» гудел на высотной стальной дороге, солнце заливало благословенный край, в стекле спидометра отражались рыжие усы Лучникова, которые всегда ему были по душе, но весь сегодняшний день основательно угнетал Андрея Лучникова, и он ехал сейчас к отцу в дурном настроении. Кальмар натуральный обезглавленный? Такого рода воспоминания о континенте присутствовали всегда. Невразумительное сообщение из Западной Африки? Перекрестился на светофор? Встреча с этими дурацкими Нессельроде? Возраст, в конце концов, паршивое увеличение цифр.

Все это, конечно, дрянь, но дрянь обычная, нормальная. Между тем Лучникова – вот наконец-то нащупал! – угнетала какая-то странная тревога, необычное беспокойство. Что-то мелькнуло особенное в голосе отца, когда он произнес: «Нет, приезжай обязательно завтра». Что же это? Да просто-напросто слово «обязательно», столь несвойственное отцу. Он, кажется, никогда не говорил, даже в детстве Андрея, «ты обязательно должен это сделать». Сослагательное наклонение – вот язык Арсения Николаевича. «Тебе бы следовало сесть за книги...» «Я предложил бы обществу поехать на море...» В таком роде общался старый доброволец с окружающими. Явно вымученный императив в устах отца беспокоил и угнетал сейчас Лучникова.

Они виделись не так уж редко: собственно говоря, их разделяли всего один час быстрой езды по Восточному и полчаса кружения по боковым съездам и подъемам. Арсений Николаевич жил в своем большом доме на склоне Сюри-Кая, и Андрей Арсеньевич любил бывать там, выбегать утром на плоскую крышу, ощущать внизу огромное свежайшее пространство, взбад-

риваться прыжками с трамплина в бассейн, потом пить кофе с отцом, курить, говорить о политике, следить за перемещением ярко раскрашенных турецких и греческих тральщиков, что промышляли у здешних берегов под присмотром серой щучки, островной канонерки. Крымчане берегли свои устричные садки, ибо знаменитые крымские устрицы ежедневно самолетами отправлялись в Париж, Рим, Ниццу, Лондон, а оставшиеся, самые знаменитые, подавались на стол в бесчисленных туристских ресторанчиках. Налоги же с устричных хозяйств шли прямым ходом в военное министерство, так что шука-канонерка берегла эти поля с особым тщанием.

Перед началом серпантина на Сюрю-Кая Лучников на минуту остановился у обочины. Он всегда так делал, чтобы растянуть чудесный миг – появление отцовского дома на склоне. Широчайшая панорама Коктебельской бухты открывалась отсюда, и в правом верхнем углу панорамы прямо под скальными стенами пила-горы тремя белыми уступами зиял отцовский дом.

Собственно говоря, здесь тоже не было никакой ностальгии. Арсений Николаевич построился здесь каких-нибудь восемь-десять лет назад, когда бурно разрослись в Восточном Крыму его конные заводы. В те времена параллельно с лошадиным бизнесом невероятно выросла и популярность Лучникова-старшего среди островного общества. Определенные круги даже намекали Арсению Николаевичу, что было бы вполне уместно выставление его кандидатуры на выборах Председателя Временной Думы, то есть практически крымского президента. Блестящих данных, дескать, Арсению Лучникову не занимать: один из немногих оставшихся участников Ледяного похода, боевой врэвакуант, профессор-историк, персона, «вносящая огромную лепту в дело сохранения и процветания русской культуры», и в то же время европеец с огромными связями в западном мире, да к тому же еще и миллионер-конно-заводчик, «способствующий экономическому процветанию Базы Временной Эвакуации», то есть Острова Крыма.

Уже и еженедельники начали давать репортажи об Арсении Лучникове, о его удивительном доме на диком склоне, о натуральной ферме за Святой горой, о новой породе скаковых лошадей, выведенной на его заводах. Стал уже создаваться имидж, «Лучников – Лук» – длинный худой старик со смеющимися глазами, одетый как юноша: джинсы и кожаная куртка.

Трудно сказать, намеренно или случайно отрезал себе Арсений Николаевич пути к президентству. Однажды в телеинтервью в ответ на вопрос: «А вас не смущает, что ваш удивительный дом стоит в сейсмически опасной зоне?» – он ответил:

– Было бы смешно жить на Острове Крым и бояться землетрясений.

Эта фраза вызвала бурный всплеск фаталистического веселья и странной бодрости: как смешно, в самом деле, бояться землетрясений под радарам, ракетами и спутниками красных, в восьмидесяти километрах от супердержавы, любимой и трижды проклятой исторической родины – СССР.

Однако вряд ли автор такого афоризма, способного восхитить снобов Симфи и космополитический сброд Ялты, может претендовать на президентское кресло. Пока еще ключи к политике Острова лежат в ладонях патриотов, истинных врэвакуантов, потомственных военных, сохраняющих уверенность в своих силах, стерегущих Крым до светлого дня Весеннего похода, до Возрождения Отчизны. Что касается современных левиафанов, милостивые государи, то... не нужно, конечно, обольщаться, но нельзя и забывать о нашем герое лейтенанте Бейли-Лэнде, и почему не вспоминать иногда о примере Израиля, о Давиде и Голиафе, о собственном славном опыте, когда небольшие наши, но ультрасовременные «форсиз» в течение недели перемолотили огромную турецкую армию и заставили современных янычар заключить пакт дружбы. Так что, несмотря на постоянную и страшную опасность и даже именно в связи с этой опасностью, нам не нужен в президентах потенциальный пораженец. К тому же, господа, не грех вспомнить и о сыне, об Андрее Лучникове, этом вполне едва ли не коммунисте, который не вылезает из Москвы. Помилуйте, господа, но это уже не дело. Рассуждая таким образом,

мы уподобляемся цэкистам-гэбистам, ущемляем священные принципы нашей демократии, да и какой Андрюша коммунист, я его знаю с детских лет. Хорошо, было бы уместно прекратить эту дискуссию, тема, кажется, исчерпана...

Примерно так представлял себе Лучников обсуждение «в кругах» кандидатуры своего отца. Он вспомнил об этом деле и сейчас, кружа по серпантину Сюрю-Кая и приближаясь к «Каховке».

Как всегда, мысль о «кругах» наполнила его темным гневом. Паяцы и мастодонты, торгаши и дебилы, всерьез рассуждают, видите ли, о Возрождении! Богатые и безнравственные смеют считать себя хранителями русской культуры. С детства они талдычат нам о зверствах большевиков, но разве и вы не были зверьми? Красные расстреливали тысячами, вы вешали сотнями: нет, не белое знамя вы несли с Юга и Востока к Кремлю, но черное с кровью. Жажда мщения двигала вашими батальонами. Либералы вроде моего юнкера-отца или самого генерала Деникина не решались произнести при вас слово «республика», не решались заикнуться о разделе земли. Как красные презирали разогнанную «учредилку», так и вы ненавидели Учредительное выборное собрание российского народа. Даже и после поражения вы охотились за Милюковым, убили Набокова-старшего, а какой была бы охота после вашей победы? Вот и сейчас шесть десятилетий вы на своей Базе Временной Эвакуации наслаждаетесь комфортом, свободой и спокойствием, в то время, когда наш народ кровью истекал под сталинскими ублюдками, отражал с неслыханными жертвами нашествие наглых иностранных орд, прозябает в бесправии, темноте духовной, скудости и лжи и снова жертвует лучшими своими детьми, в то время, когда такие сложнейшие и драматические процессы происходят в России, вы все еще талдычите вставными челюстями о Весеннем походе...

Звук сирены сверху отвлек Лучникова от этих мыслей. Он притормозил и увидел прямо над собой за зарослями кизильных кустов длинную фигуру отца в выцветшей голубой рубашке. Отец махал ему рукой и что-то кричал. За спиной у него светила странная при ярком солнце фара маленького желтого бульдозера. Очевидно, именно из бульдозера он и просигналил сиреной.

– Андрей, не разгоняйся! – кричал отец.

Лучников медленно проехал вираж.

Молодой походкой, размахивая руками со свойственной ему внешней беззаботностью, отец шел навстречу.

– Вчера здесь случился камнепад, – объяснил он. – Я сейчас тут расчищаю бульдозером. Олл райт, закончу после обеда.

Арсений сел в машину к Андрею, и они медленно перевалили через опасный участок.

– Ну а теперь можно как обычно, – улыбнулся отец. – Не потерял еще класс?

Лучников до тридцати лет занимался автогонками почти профессионально, но никогда на шоссе или в городе этого не показывал, лишь на горных дорогах охватывал его иногда мальчишеский раж. Он подумал, что, может быть, отцу будет приятно увидеть в этом рыжем с седой морщинистом дядьке прежнего своего любимого мальчишку, и стал подхлестывать свой «Питер» толчками по педали. Турбина рывкала. Они выскакивали на виражи, казалось, для того, чтобы лететь дальше в небо и в пропасть, но резко переключался руль, выдергивалась кулиса, и со скрежетом на двух колесах – два других в воздухе – «Питер» вписывался в поворот.

– Bravo! – сказал отец, когда они влетели во двор «Каховки» и остановились мгновенно и точно в квадрате паркинга.

Резиденция Лучникова-старшего называлась «Каховкой» неспроста. Как раз лет десять назад Андрей привез из очередной поездки в Москву несколько грампластинок. Отец снисходительно слушал советские песни, как вдруг вскочил, пораженный одной из них.

родная винтовка,
горячая пуля, лети! Гремела атака, и пули
свистели,
и дробно стучал пулемет,
и девушка наша
в походной шинели,
горящей Каховкой идет.

Ты помнишь, товарищ,
как вместе сражались,
как нас оведала гроза?
Тогда нам с тобою сквозь дым улыбались
ее голубые глаза.

Отец прослушал песню несколько раз, потом некоторое время сидел молча и только тогда уже высказался:

– Стихи, сказать по чести, не вполне грамотные, но, как ни странно, эта комсомольская романтика напоминает мне собственную юность и наш юнкерский батальон. Ведь я дрался в этой самой Каховке... И девушка наша Верочка, княжна Волконская, шла в шинели... по горящей Каховке...

Прелюбопытным образом советская «Каховка» стала любимой песней старого врэвакуанта. Лучников-младший, конечно же, с удовольствием подарил отцу пластинку: еще один шаг к Идее общей судьбы, которую он проповедовал. Арсений Николаевич сделал магнитную запись и послал в Париж, тамошним батальонцам: «Ты помнишь, товарищ, как вместе сражались...» Из Парижа тоже пришли восторженные отзывы. Тогда и назвал старый Лучников свой новый дом на Сюрю-Кая «Каховкой».

– Еще не потерял класс, Андрюша.

Отец и сын постояли минуту на солнцепеке, с удовольствием глядя друг на друга. Разно-высокие стены строений окружали двор: галереи, винтовые лестницы, окна на разных уровнях, деревья в кадках и скульптуры.

– Я вижу, у тебя новинка, – сказал Андрей. – Эрнст Неизвестный...

– Я купил эту вещь по каталогу, через моего агента в Нью-Йорке, – сказал Арсений и добавил осторожно: – Неизвестный, кажется, сейчас в Нью-Йорке живет?

– Увы, – проговорил Андрей, приблизился к «Прометею» и положил на него руку. Сколько раз он видел эту скульптуру и трогал ее в мастерской Эрика, сначала на Трубной, потом на улице Гиляровского.

Они прошли в дом и через темный коридор с африканскими масками по стенам вышли на юго-восточную, уступчатую, многоэтажную часть строения, висящую над долиной. Появился древний Хуа, толкая перед собой тележку с напитками и фруктами.

– Ю узлкам Андрюса синочек эз юзуаль канисна, – прошипел он сквозь остатки зубов, похожие на камни в устье Янцзы.

– Ты видишь, не прошло и сорока лет, а Хуа уже научился по-русски, – сказал отец.

Китаец мелко-мелко затрясся в счастливом смехе. Андрей поцеловал его в коричневую щеку и взял здоровенный бокал водкатины.

– Сделай нам кофе, Хуа.

Арсений Николаевич подошел к перилам веранды и позвал сына – глянь, мол, вниз – там нечто интересное. Андрей Арсеньевич глянул и чуть не выронил водкатины: там внизу на краю бассейна стоял его собственный сын Антон Андреевич. Длинная и тонкая дедовская фигура Антошки, белокурые патлы перехвачены по лбу тонким кожаным ремешком, ярчайшие аме-

риканские купальные трусы почти до колен. В расхлябанной наглой позе на лесенке бассейна стояло отродье Андрея Арсеньевича, его единственный сын, о котором он вот уже больше года ничего не слышал. В воде между тем плавали две гибкие девушки, обе совершенно голые.

– Явились вчера вечером пешком, с тощими мешками, грязные... – быстро, как бы извиняясь, заговорил Лучников-старший.

– Кажется, уже отмылись, – сухо вато заметил Лучников.

– И отъелись, – засмеялся дед. – Голодные были, как акулы. Они приплыли из Турции с рыбаками... Позови его, Андрей. Попробуйте все-таки...

– Анто-о-ошка! – закричал Лучников так, как он кричал когда-то, совсем еще недавно, будто бы вчера, когда в ответ на этот крик его сын тут же мчался к нему большими скачками, словно милейший дурашливый пес.

Так неожиданно произошло и сейчас. Антон прыгнул в воду, бешеным кролем пересек бассейн, выскочил на другой стороне и помчался вверх по лестнице, крича:

– Хай, дад!

Как будто ничего и не было между ними: всех этих мерзких сцен, развода Андрея Арсеньевича с матерью Антона, взаимных обвинений и даже некоторых пощечин; как будто не пропал мальчишка целый год черт знает в каких притонах мира.

Они обнялись и, как в прежние времена, повозились, поборолось и слегка побоксиrowали. Краем глаза Лучников видел, что дед сияет. Другим краем глаза он замечал, как вылезают из бассейна обе дивы, как они натягивают на чресла ничтожные яркие плапочки и как медленно направляются вверх, закуривая и болтая друг с другом. Мысль о лифчиках, видимо, не приходила им в голову, то ли за неимением таковых, то ли за неимением и самой подобной мысли.

– Познакомьтесь с моим отцом, друзья, – сказал Антон девушкам по-английски. – Андрей Лучников. Дад, познакомься, это Памела, а это Кристина.

Они были очень хорошенькие и молоденькие, если и старше девятнадцатилетнего Антона, то ненамного. Памела, блондинка с пышной гривой выгоревших волос, с идеальными, будто бы скульптурными крепкими грудками. «Калифорнийское отродье вроде Фары Фасет», – подумал Лучников. Кристина была шатенка, а груди ее (что поделаешь, если именно груди девиц привлекали внимание Лучникова: он не так уж часто бывал в обществе передовой молодежи), груди ее были не столь идеальны, как у подружки, однако очень вызывающие, с торчащими розоватыми сосками.

Девицы вполне вежливо сказали «nice to meet you» – у Кристины был какой-то славянский акцент – и крепко, по-мужски пожали руку Лучникова. Они подчеркнуто не обращали внимания на свои покачивающиеся груди и как бы предлагали и окружающим не обращать внимания – дескать, что может быть естественнее, чем часть человеческого тела? – и от этой нарочитости, а может быть, и просто от голода у Лучникова зашевелился в штанах старый друг, и он даже разозлился: вновь возникала проклятая, казалось бы, изжитая уже в сумасшедшей череде дней зависимость.

– Вы, должно быть, из «уименс-либ», бэби? – спросил он девушек. Яростное возмущение. Девчонки даже присвистнули.

– Мы вам не бэби, – хрипловато сказала Кристина.

– Male chauvinist pig, – прорычала Памела и быстро, взволнованно стала говорить подружке: – Из их поколения этой гадости уже не выбьешь. Обрати внимание, Кристи, как он произнес это гнусное словечко «бэби». Как будто в фильмах пятидесятых годов, как будто солдат проституточкам!..

Лучников облегченно расхохотался: значит, просто обыкновенные дуры! Дружок в штанах тоже сразу успокоился.

– Ребята, вы не обижайтесь на моего дяди, – сказал Антон. – Он и впрямь немного олд-таймер. Просто вы его своими титьками взволновали.

– Простите, джентльмены, – сказал Лучников девушкам. – Я действительно невпопад ляпнул. Грехи прошлого. Почувствовал себя слегка в бордельной обстановке. Ведь я именно солдафон пятидесятых.

– Будем обедать, господа? – спросил Арсений Николаевич. – Здесь или в столовой?

– В столовой, – сказал Антон. – Тогда девки, может быть, оденутся. А то бедный мой папа не сможет съесть ни кусочка.

– Или съем что-нибудь не то, – пробурчал Лучников.

Отец и сын сели рядом в шезлонги.

– Где же ты побывал за этот год? – спросил Лучников.

– Спроси, где не был, – по-мальчишески ответил Антон.

Он сделал знак Хуа, и тот принес ему его драные, разлохмаченные джинсы. Антон вытащил из кармана железную коробочку из-под голландских сигар «Биллем II» и извлек оттуда самокруточку. Понятно – курим «грасс». Именно в присутствии отца закурить «грасс» – вот она свобода! Неужели он думал когда-нибудь, что я его буду угнетать, давить, ханжески ограничивать? Неужели он, как и эти две дурочки, считает меня человеком пятидесятых? Во всем мире меня считают человеком, определяющим погоду и настроение именно сегодняшнего дня, и только мой собственный сын нашел между нами generation gap. Не слишком ли примитивно? Во всех семьях говорят о разрыве поколений, значит и мы должны иметь эту штуку? Может быть, он не слишком умен? Провалы по части вкуса? В кого у него этот крупный нахальный нос? Невысокий, зарастающий по бокам лоб – в мамашу. Но нос-то в кого? Да нет, не открестишься – подбородок мой и зеркальные родинки: у меня над левой ключицей, у него – над правой, у меня справа от пупка, у него – слева, а фигура – в Арсения.

– Сейчас спрошу, где ты не был, – улыбнулся Лучников. – В Штатах не был?

– От берега до берега, – ответил Антон.

– В Индии не был?

– Сорок дней жил в ашраме. Пробирались даже в Тибет через китайские посты.

– Скажи, Антоша, а на что ты жил весь этот год?

– В каком смысле?

– Ну, на что ты ел, пил? Деньги на пропитание, короче говоря?

Антон расхохотался, слегка театрально.

– Ну, папа, ты даешь! Поверь мне, это сейчас не проблема для... ну для таких, как я, для наших. Обычно мы живем в коммунах, иногда работаем, иногда попрошайничаем. Кроме того, знаешь ли, ты, конечно, не поверишь, но я стал совсем неплохим саксофонистом...

– Где же ты играл?

– В Париже... в метро... знаешь там корреспонданс на Шатле...

– Дай затянуться, – попросил Лучников.

Антон вспомнил, что он курит, и тут же показал специфическую расслабленность, особую такую шикарную полуотрешенность.

– Это... между прочим... из Марокко... – пробормотал он как бы заплетающимся языком.

Все-таки – мальчишка.

– Я так и понял, – сказал Лучников, взял слюнявый окурочек и втянул сладковатый дымок. Сладкая дрянь.

– Ба, вот странность, только сейчас заметил, что я спрашиваю тебя по-русски, а ты мне отвечаешь на яки. – Он внимательно разглядывал сына. Все-таки красивый парень, очень красивый.

– Это язык моей страны! – с неожиданной горячностью вскричал Антон. Веселости как не бывало. Глаза горят. – Я говорю на языке моей страны!

– Вот оно что! – сказал Лучников. – Теперь, значит, вот такие у нас идеи?

– Слушай, атац, ты меня опять подначиваешь. Ты со мной, я вижу, так и не научишься говорить серьезно. Яки! – Нотка враждебности, той старой, годичной давности, появилась в голосе Антона. – Яки! Яки, атац!

Атац, то есть отец, типичное словечко яки, смесь татарщины и русятины.

Уровнем ниже, в дверях столовой появилась фигура деда.

– Мальчики, обедать! – крикнул он.

Антон вылез из шезлонга и пошел по веранде, прыгая на одной ноге и на ходу натягивая джинсы. Обернулся.

– Да, я забыл тебе сказать, что я и в Москве твоей побывал.

– Вот как? – Лучников встал. – Ну и как тебе Москва?

– Блевотина, – с удовольствием сказал Антон и, почувствовав, что диалог закончился в его пользу, очень повеселел.

Дед явно любовался внуком. В дверях столовой Антон дружески ткнул Арсения плечом. Лучников-средний задержался.

– Арсений, это из-за него ты просил меня приехать обязательно сегодня. Он что – завтра испаряется?

– Нет-нет. Антошка мне ничего не говорил о своих планах. Не думаю, что эта троица так быстро нас покинет. Девочки первый раз на Острове. Антошка предвкушает роль гида. Новая культура яки и жизнь русских мастодонтов. К тому же рядом и Коктебель с его вертепами. Думаю, что американочкам на неделю хватит.

Арсений Николаевич вроде бы посмеивался, но Андрей Арсеньевич заметил, что глаза отца смотрят серьезно и как бы изучают его лицо. Это тоже было несвойственно старику Лучникову и пугало.

– Тогда почему же ты сказал «обязательно»? Просто так, а? Без особого значения?

«Если ответит „просто так, без особого значения“, то это самое худшее», – подумал Андрей Арсеньевич.

– Со значением, – улыбнулся отец, как бы угадавший ход его мыслей. – У нас сегодня к обеду Фредди Бутурлин.

– Да я его вижу чуть ли не каждый день в Симфи! – воскликнул Лучников.

– Нам нужно будет вечером поговорить втроем, – неожиданно жестким голосом – президент в кризисных паузах истории – проговорил Лучников-старший.

Они вошли в столовую, одна стена которой была стеклянной и открывала вид на море, скалу Хамелеон и мыс Крокодил. За столом уже сидели Памела, Кристина, Антон и Фредди Бутурлин.

Последний был членом Кабинета министров, а именно товарищем министра информации. Пятидесятилетний цветущий отпрыск древнего русского рода, для друзей и избирателей Фредди, а для врэвакуантов Федор Борисович, член партии к-д и спортклуба «Русский сокол», а по сути дела плебей без каких-либо особых идей, Бутурлин когда-то слушал лекции Лучникова-старшего, когда-то шлялся по дамочкам с Лучниковым-средним и потому считал их своими лучшими задушевыми друзьями.

– Хай, Эндрю! – Он открыл свои объятия.

– Привет, Федя! – ответил Лучников по правилам московского жаргона.

Памела и Кристина – боже! – преобразились: обе в платьях! Платья, правда, были новомодные, марлевые, просвечивающие, да еще и на узеньких бретельках, но все-таки соски молодых особ были прикрыты какими-то цветными аппликациями. Антоша сидел голый по пояс, только лишь космы свои слегка заправил назад, завязал теперь в пони-тэйл.

Седьмым участником трапезы был мажордом Хуа. Он отдавал распоряжения на кухню и официанту Таври, но то и дело присаживался к столу, как бы гордо демонстрируя, что он тоже член семьи, поворачивал по ходу беседы печеное личико, счастливо лучился, внимал. Вдруг беседа и его коснулась.

– Хуа – старый тайваньский шпион, – сказал про него Антон девушкам. – Это естественно, Крым и Тайвань, два отдаленных брата. В семьях врэвакуантов считается шикарным иметь в доме китайскую агентуру. Хуа шпионит за нами уже сорок лет, он стал нам родным.

– Что такое врэвакуанты? – Памела чудесно сморщила носик.

– Когда в тысяча девятьсот двадцатом году большевики вышибли моего дедулю и его славное воинство с континента, белые офицеры на Острове Крым стали называть себя «временные эвакуанты». Временный is temporary in English. Потом появилось сокращение «вр. эвакуанты», а уже в пятидесятых годах, когда основательно поблекла идея Возрождения Святой Руси, сложилось слово «врэвакуант», нечто вроде нации.

Отец и дед Лучниковы переглянулись: Антону и в самом деле нравилась роль гида. Фредди Бутурлин пьяновато рассмеялся: то ли он действительно набрался еще до обеда, то ли ему казалось, что таким пьяноватым ему следует быть в его «сокольской» плебейской куртке, да еще и в присутствии хорошеньких девиц.

– Ноу, Тони, ноу, плиз донт... – погрозил он пальцем Антону. – Не вводи в заблуждение путешественниц. Врэвакуанты, май янг лэдис, это не нация. По национальности мы – русские. Именно мы и есть настоящие русские, а не... – тут бравый «сокол» слегка икнул, видимо вспомнив, что он еще и член кабинета, и закончил фразу дипломатично: —...А не кто-нибудь другой.

– Вы хотите сказать, что вы – элита, призванная править народом Крыма?! – выпалил Антон, перегнувшись через край стола.

«Что это он глаза-то стал так таращить? – подумал Лучников. – Уж не следствие ли наркотиков?»

– Не вы, а мы, – лукаво погрозил Бутурлин Антону вилкой, на которой покачивался великолепный шримп. – Уж не отделяешься ли ты от нас, Тони?

– Антон у нас теперь представитель культуры яки, – усмехнулся Лучников.

– Яки! – вскричал Антон. – Будущее нашей страны – это яки, а не вымороченные врэвакуанты, или обожравшиеся муллы, или высохшие англичане! – Он отодвинул локтем свою тарелку и зачастил, обращаясь к девушкам: – Яки – это хорошо, это среднее между «якши» и «о'кей», это формирующаяся сейчас нация Острова Крыма, составленная из потомков татар, итальянцев, болгар, греков, турок, русских войск и британского флота. Яки – это нация молодежи. Это наша история и наше будущее, и мы плевать хотели на марксизм и монархизм, на Возрождение и на Идею Общей Судьбы!

За столом после этой пылкой тирады воцарилось натянутое молчание. Девицы сидели с каменными лицами, у Кристины вздулась правая щека – во рту, видимо, лежало что-то непрожеванное, вкусное.

– Вы уж извините нас, уважаемые леди, – проговорил Арсений Николаевич. – Быть может, вам не все ясно. Это вечный спор славян в островных условиях.

– А нам на ваши проблемы наплевать, – высказалась Кристина сквозь непрожеванное и быстро начала жевать.

– Bravo! – сказал дед. – Предлагаю всему обществу уйти от битвы идей к реальности. Реальность перед вами. В центре стола омар, слева от него различные соусы. Салат с креветками вы уже отведали. Смею обратить внимание на вот эти просвечивающие листочки балаклавской ветчины, она не уступит итальянской прошутто. Вон там, в хрустале, черная горка с дольками лимона – улыбка исторической родины, супервалютная икра. Шампанское «Новый Свет» в рекламе не нуждается. В бой, господа!

Далее последовал очень милый, вполне нормальный обед, в течение которого вся атмосфера наполнялась веселым легким алкоголем, и вскоре все стали уже задавать друг другу вопросы, не дожидаясь ответа, и отвечать, не дожидаясь вопросов, а когда подали кофе, Лучников почувствовал на своем колене босую ступню Памелы.

– Этот тип, – говорила золотая калифорнийская дива, тыча в него сигарой, вынутой из рта Фредди Бутурлина, – этот тип похож на рекламу «Мальборо».

– А этот тип, – Кристина, взмахнув марлевым подолом, опустила голый задик на костлявые колени деда Арсения, – а этот тип похож на пастыря всего нашего рода. Пастырь белого племени! Джинсовый Моисей!

– Вы, девки! Не трогайте моих предков! – кричал Антон. – Папаша, можно я возьму твой «турбо»? Нельзя? Как это говорят у вас в Москве – жмот? Ты – старый жмот! Дед! Одолжи на часок «роллс»? Жмоты проклятые! Врэвакуанты! Яки поделится последней рубахой.

– Я вам дам «лендровер» с цепями, – сказал дед Арсений. – Иначе вы сверзитесь с серпантина в бухту.

– Ура! Поехали! – Молодежь поднялась и, приплясывая, прихлопывая и напевая модную в этом туристическом сезоне песенку «Город Запорожье», удалилась. Памела перед уходом нахлобучила себе на голову летнюю изысканную шляпу товарища министра информации.

Город Запорожье!
Санитэйшен фри!
Вижу ваши рожи,
Братцы, же ву при!

Русско-англо-французский хит замер в глубинах «Каховки». Взрослые остались одни.

– Эти девки могут разнести весь твой замок, Арсений, – сказал Лучников. – Откуда они их вывез?

– Говорит, что познакомился с ними третьего дня в Стамбуле.

– Третьего дня? Отлично! А когда он стал яки-националистом?

– Думаю, что сегодня утром. Они часа два беседовали на море с моим лодочником Хайрамом, а тот активист «Яки-Фьюча-Туганер-Центр».

– Хороший у тебя сын, Андрюшка, – мямлил вконец осоловевший Бутурлин. – Ищущий, живой, с такими девушками дружит. Вот мои мерзавцы-белоподкладочники только и шастают по салонам врэвакуантов, скрипка, фортепиано, играют всякую дребедень от Гайдна до Стравинского... понимаете ли, духовная элита... Мерзость! В доме вечные эти звуки – Рахманинов... Гендель... тоска... не пьют, не валяются...

– Ну, Фредди, хватит уже, – сказал Лучников-старший. – Теперь мы одни.

Фредди Бутурлин тут же причесался, одернул куртку и сказал:

– Я готов, господа.

– Хуа, отключи телефоны, – попросил Арсений Николаевич.

– А вы не завели еще себе магнитный изолятор? – поинтересовался Фредди. – Рекомендую. Стоит дорого, но зато перекрывает всех «клопов».

– Что все это значит? – спросил Лучников. Он злился. Двое уже знают некий секрет, который собираются преподнести третьему, несведущему. Хочешь не хочешь, но в эти минуты чувствуешь себя одураченным.

Арсений Николаевич вместо ответа повел их в так называемые «частные» глубины своего дома, то есть туда, где он, собственно говоря, и жил. Комнаты здесь были отделаны темной дубовой панелью, на стенах висели старинные портреты рода Лучниковых, часть из которых успела эвакуироваться еще в двадцатом, а другая часть разными правдами-неправдами была выцарапана уже из Совдепии. Повсюду были книжные шкафы и полки с книгами, атласами,

альбомами, старые географические карты, старинные глобусы и телескопы, модели парусников, статуэтки и снимки любимых лошадей Арсения Николаевича. Над письменным столом висела фотография суперзвезды, лучниковского фаворита, пятилетнего жеребца крымской породы Варяга, который взял несколько призов на скачках в Европе и Америке.

– Недавно был у меня один визитер из Москвы, – сказал Арсений Николаевич. – Настоящий лошадиник. Еврей, но исключительно интеллигентный человек.

Андрей Арсеньевич усмехнулся. Ничем, наверно, не изжить врэвакуантского высокомерия к евреям. Даже либерал-папа проговаривается.

– Так вот, знаете ли, этот господин задумал в каком-то там их журнале рубрику «Из жизни замечательных лошадей». Дивная идея, не так ли?

– И что же? – поднял дворянскую бровь Бутурлин.

– Зарубили, наверное? – хмуро пробормотал Андрей.

– Вот именно это слово употребил визитер, – сказал Арсений. – Редактор рубрику зарубил.

Андрей рассмеялся:

– Евреи придумывают, русские рубят. Там сейчас такая ситуация.

Все трое опустили в кожаные кресла вокруг низкого круглого стола. Хуа принес портвейны и сигары и растворился в стене.

– Ну так что же случилось? – Лучников все больше злился и нервничал.

– Андрей, на тебя готовится покушение, – сказал отец.

Лучников облегченно расхохотался.

– Ну вот я так и знал – начнет ржать. – Арсений Николаевич повернулся к Бутурлину.

– Арсений, тебе, наверное, позвонил какой-нибудь маразматик-волчесотенец? – смеялся Лучников. – В «Курьере» дня не проходит без таких звонков. Чекистский выкормыш, блядь кремлевская, жидовский подголосок... как только они меня не кроют... придушим, утопим, за яйца повесим...

– На этот раз много серьезнее, Эндрю. – Вместе с этими словами и голос Бутурлина стал намного серьезнее.

– Сведения идут прямо из СВРП, – холодно и как бы отчужденно Арсений Николаевич стал излагать эти сведения. – Правое законспирированное крыло Союза Возрождения Родины и Престола приняло решение убрать тебя и таким образом ликвидировать нынешний «Курьер». Мне об этом сообщил мой старый друг, один из еще живущих наших батальонцев, но... – у Лучникова-старшего чуть дрогнул угол рта, – но, смею заверить, еще не маразматик. Ты знаешь прекрасно, Андрей, что твой «Курьер» и ты сам чрезвычайно раздражаете правые круги Острова...

– Сейчас уже и левые, кажется, – вставил Фредди Бутурлин.

– Так вот, мой старый друг тоже всегда возмущался твоей позицией и Идеей Общей Судьбы, которую он называет просто советизацией, но сейчас он глубоко потрясен решением правых из СВРП. Он считает это методами красных и коричневых, угрозой нашей демократии и вот почему хочет помешать этому делу, лишь во вторую голову ставя наши с ним дружеские отношения. Теперь, пожалуйста, Федя, изложи свои соображения.

Арсений Николаевич, едва закончив говорить, тут же выскочил из кресла и зашагал по ковру, как бы слегка надламываясь в коленных суставах.

Лучников сидел молча с незажженной сигарой в зубах. Мрак мягкими складками висел справа у виска.

– Андрюша, ты знаешь, на какой пороховой бочке мы живем, в какую клоаку превратился наш Остров... – так начал говорить товарищ министра информации Фредди Бутурлин. – Тридцать девять одних только зарегистрированных политических партий. Масса экстремистских групп. Идиотская мода на марксизм распространяется, как инфлуэнца. Теперь любой бога-

тей-яки выписывает для украшения своей виллы собрания сочинений прямо из Москвы. Врэвакуанты читают братьев Медведевых. Муллы цитируют Энвера Ходжу. Даже в одном английском доме недавно я присутствовал на декламации стихов Мао Цзэдуна. Остров наводнен агентурой. Си-Ай-Эй и Ка-Гэ-Бэ действуют чуть ли не в открытую. Размягчающий транс рядки.

Все эти бесконечные делегации дружбы, культурного, технического, научного сотрудничества. Безвизный въезд, беспошлинная торговля... – все это, конечно, невероятно обогащает наше население, но день за днем мы становимся международным вертепом почище Гонконга. С правительством никто не считается. Демократия, которую Арсений Николаевич с сотоварищами вырвали у Барона в тысяча девятьсот тридцатом году, доведена сейчас до абсурда. Пожалуй, единственный институт, сохранивший до сих пор свой смысл, – это наши вооруженные силы, но и они начинают развинчиваться. Недавно было экстренное заседание кабинета, когда ракетчики Северного укрепрайона потребовали создания профсоюза военных. Вообрази себе бастующую армию. Кому она нужна? По данным ОСВАГа, шестьдесят процентов офицерского состава выписывают твой «Курьер». Стало быть, они читают газету, которая на каждой своей странице отвергает сам смысл существования русской армии. Понимаешь ли, Андрей, в другой, более нормальной обстановке твоя Идея Общей Судьбы была бы всего лишь одной из идей, право на высказывание которых – любых идей! – закреплено в конституции. Сейчас Идея и ее активный пропагандист «Курьер» становится реальной опасностью не только для амбиций наших мастодонтов, как ты их называешь, но и для самого существования государства и нашей демократии. Подумай, ведь ты, проповедуя общую судьбу с великой родиной, воспитывая в гражданах комплекс вины перед Россией, комплекс вины за неучастие в ее страданиях и, как говорят они там, великих свершениях, подумай сам, Андрей, ведь ты проповедуешь капитуляцию перед красными и превращение нашей славной банановой республики в Крымскую область. Ты только вообрази себе этот кошмар – обкомы, райкомы...

– Я не понимаю, Федя, – перебил его Лучников. – Ты что, подготавливаешь меня к покушению, что ли? Доказываешь его целесообразность? Что ж, в логике тебе не откажешь.

Тяжесть налила все его тело. Тело – свинцовые джунгли, душа – загнанная лиса. Мрак висел теперь, как овальное тело, возле уютной люстры. Сволочь Бутурлин разглагольствует тут, развивает государственные соображения, а в это время СВРП разрабатывает детали охоты. На меня. На живое существо. Сорокашестилетний холостяк, реклама сигарет «Мальборо», любитель быстрой езды, пьянчуга, сластолюбец, одинокий и несчастный, будет вскоре прошит очередью из машингана. До слез жалко мальчика Андрюшу. Папа и мама, зачем вы учили меня гаммам и кормили кашей «Нестле»? Конеч.

– Постыдись, Андрей! – вскричал Бутурлин. – Я рисую тебе общую картину, чтобы ты уяснил себе степень опасности.

Он уяснил себе степень опасности. Вполне отчетливо. Отцу и в самом деле не нужно было называть своего старого друга по имени, он сразу понял, что речь идет о майоре Боборыко, а покушение затеяно его племянником, одноклассником Лучникова Юркой, обладателем странной двойной фамилии Игнатьев-Игнатьев.

Всю жизнь этот карикатурный тип сопровождает Андрея. Долгое время учились в одном классе гимназии, пока Андрей не отправился в Оксфорд. Вернувшись на Остров в конце 1955 года, он чуть ли не на первой же вечеринке встретил Юрку и поразился, как отвратительно изменился его гимназический приятель, фантазер, рисовальщик всяческих бригадиров и фрегатов, застенчивый прыщавый дроздил. Теперь это стал большой, чрезвычайно нескладный мерин, выглядящий много старше своих лет, с отвратительной улыбкой, открывающей все десны и желтые вразнобой зубы, с прямым клином вечно грязных волос, страшно крикливый монологист, политический экстремист, «ультраправый».

Андрею тогда на политику было наплевать, он воображал себя поэтом, кутил, восторгался кипарисами и возникающими тогда «климатическими ширмами» Ялты, таскался по дансингам за будущей матерью Антона Марусей Джерми и всюду, где только ни встречался с Юркой, слегка над ним посмеивался.

Игнатъев-Игнатъев тоже вращался в ту пору вокруг блистательной Маруси, но никогда ей не объяснился, никогда с ней не танцевал, даже вроде бы и не подходил ближе чем на три метра. Он носил какое-то странное полувоенное одеяние с волчьим хвостом на плече – «Молодая волчья сотня». Чаще всего он лишь мрачно тарасился из угла на Марусю, иногда – после пары коктейлей – цинично улыбался огромным своим мокрым ртом, а после трех коктейлей начинал громогласно ораторствовать, как бы не обращая на итальяночку никакого внимания. Тема тогда у него была одна. Сейчас, в послесталинское время, в хрущевской неразберихе, пора высаживаться на континент, пора стальным клинком разрезать вонючий маргарин Совдепии, в неделю дойти до Москвы и восстановить монархию.

Однако, когда началась Венгерская революция 1956 года, «Молодая волчья сотня» осталась ораторствовать в уютных барах Крыма, в то время как юноши из либеральных семей, все это барахло, никчемные поэтишки и джазмены, как раз и организовали баррикадный отряд, вылетели в Вену и пробрались в Будапешт прямо под гусеницы карательных танков.

Андрей Лучников тогда еле унес ноги из горящего штаба венгерской молодежи, кино-театра «Корвин». Советская, читай русская, пуля сидела у него в плече. Потрясенный, обожженный, униженный дикой танковой беспощадностью своей исторической родины, он был доставлен домой какой-то шведской санитарной организацией. Из трех сотен добровольцев на Остров вернулось меньше пяти десятков. Разумеется, вернулись они героями. Портреты Андрея появились в газетах. Маруся Джерми не отходила от его ложа. К концу года раны борца за свободу затянулись, состоялась шумнейшая свадьба, которую некоторые эстеты считают теперь зарей новой молодежной субкультуры.

Среди многочисленных чудеснейших эпизодов этой свадьбы был и один безобразный: Игнатъев-Игнатъев, перегнувшись через стол, стал орать в лицо Лучникову: «А все-таки здорово наши выпустили кишки из жидомадьяр!» Хотели было его бить, но жених, сияющий и блистательный идол молодежи Андрэ, решил объясниться. Извини, Юра, но мне кажется, что-то есть лишнее между нами. Оказалось не лишнее: ненависть! Игнатъев-Игнатъев в кафельной тишине сортира ночного клуба «Blue Inn», икая и дрожа, разразился своим комплексом неполноценности. «Ненавижу тебя, всегда ненавидел, белая кость, голубая кровь, облюю сейчас всю вашу свадьбу».

До Лучникова тогда дошло, что перед ним злейший его враг, опаснейший еще и потому, что, кажется, влюблен в него, потому что соперником его считать нельзя. Потом еще были какие-то истерики, валянье в ногах, гомосексуальные признания, эротические всхлипы в адрес Маруси, коварные улыбки издалека, доходящие через третьи руки угрозы, но всякий раз на протяжении лет Лучников забывал Игнатъева-Игнатъева, как будто тот и не существует. И вот наконец – покушение на жизнь! В чем тут отгадка – в политической ситуации или в железах внутренней секреции?

– Ну хорошо, я уяснил себе опасность ситуации, – сказал Лучников. – Что из этого?

– Нужно принять меры, – сказал Бутурлин.

Отец молчал. Стоял в углу, глядел на замирающее в сумерках море и молчал.

– Сообщи в ОСВАГ, – сказал Лучников.

Бутурлин коротко хохотнул:

– Это несерьезно, ты знаешь.

– Какие меры я могу принять, – пожал плечами Лучников. – Вооружиться? Я и так, словно Бонд, не расстаюсь с «береттой».

– Ты должен изменить направление «Курьера».

Лучников посмотрел на отца. Тот молча перешел к другому окну, даже и не обернулся. Закатные небеса над холмами изображали битву парусного флота. Лучников встал и, прихватив с собой бутылку и пару сигар, направился к выходу из кабинета. Бутурлин преградил ему путь.

– Андрэ, я же не говорю тебе о коренном изменении, о повороте на сто восемьдесят градусов... Несколько негативных материалов о Союзе... Нарушение прав человека... насилие над художниками... ведь это же все есть на самом деле... тебе же не придется врать... ведь ты же печатаешь такие вещи... но ты это освещаешь как-то изнутри, как-то так... будто бы один из них, некий либеральный советчик... Ведь ты же сам, сознайся, Андрей, всякий раз возвращаешься оттуда, трясясь от отвращения...

Пойми, несколько таких материалов, и твои друзья смогут тебя защитить. Твои друзья смогут тогда говорить: «Курьер» – это независимая газета Временной Зоны Эвакуации, руки прочь от Лучникова. Сейчас, ты меня извини, Андрей, – голос Бутурлина вдруг налился историческим чугуном, – сейчас твои друзья не могут этого сказать.

Лучников легонько отодвинул Фредди и прошел к дверям. Выходя, успел заметить, как Бутурлин разводит руками, – дескать, ну вот, с меня, мол, и взятки гладки. Отец не переменял позы и не окликнул Андрея.

Он ушел из «частных комнат» в свою башенку, открыл дверь комнаты, которая всегда ждала его, и некоторое время стоял там молча в темноте с бутылкой в руке и с двумя сигарами, зажатыми между пальцев. Потом медленно распустил шторы. Полыханье парусной битвы за плоскими скалами Библейской долины. Лучников лег на тахту и стал бездумно следить медленные перемещения деформированных и частично горящих фрегатов. Потом он увидел на полке над собой маленький магнитофон, до которого можно было дотянуться, не меняя позы, и это соблазнило его нажать кнопку.

Сразу в черноморской тишине взорвался заряд потусторонних звуков, говор странной толпы, крики чуждых птиц, налетающий посвист морозного ветра, отдаленный рев грубых моторов, какой-то лязг, стук пневмомолотка, какая-то дурацкая музыка – все это было чуждым, постылым и далеким, и это была земля его предков, коммунистическая Россия, и не было в мире для Андрея Лучникова ничего роднее.

Всю эту мешанину звуков электропилой прорезал кликушеский бабий голос: «Молитесь, родные мои, молитесь, сладкие мои! Нет у вас храма, в угол встаньте и молитесь!

Святого образа нет у вас, на небо молитесь! Нету лучшей иконы, чем небо!»

Прошлой зимой в Лондоне Лучников ни с того ни с сего купил место в дешевом круизе «Магнолия» и прилетел в Союз. Никому из московских друзей звонить не стал, путешествовал с группой западных мещан по старым городам – Владимир, Суздаль, Ростов Великий, Ярославль, и не пожалел: «Интурист» англичанами занимался из рук вон плохо, часами мариновал на вокзалах, засовывал в общие вагоны, кормили частенько в обычных столовых – вряд ли когда-нибудь Лучников столь близко приближался к советской реальности.

Эту запись он сделал случайно. Гулял вокруг Успенского собора во Владимире и там услышал кликушу. В парке возле собора красовались аляповатые павильоны, раскрашенные жуткими красками, – место увеселения детворы, кажется, шли школьные каникулы. Изображения ракет и космонавтов. Дом напротив украшен умопомрачительно – непонятым лозунгом: «Пятилетке качества рабочую гарантию». Тащатся переполненные троллейбусы, бесконечная вереница грузовиков, в основном почему-то пустых. Большая чугунная рука, протянутая во вдохновенном порыве. И вдруг – кликуша, и, отвернувшись от животворной современности, видишь неизменных русских старух у обшарпанной стены храма, сонмы ворон, кружащих над куполами, распухшую бабу-кликушу и дурачка Сережу, Божьего человека, который курит «Беломор» и трясется рядом с бабой, потому что она – его родная мать вот уж сорок годков.

– Гляньте на Сережу, сладкие мои! Я ему на кровати стелю, а сама на полу сплю, потому что он – человек Божий. А ест Сережа с кошками и собаками, потому что все мы твари Божие, и он дает нам понятие – природу не обижайте, сладкие мои!

Лучников с магнитофоном в кармане стоял среди старух. Те вынимали черствые булки и совали их в торбу юродивым. Распухшая баба быстро крестила всех благодетельниц и кричала все пронзительнее:

– Евреев не ругайте! Евреи – народ Божий! Это вам враги говорят евреев ругать, а вы по невежеству их слушаете.

Господа нашего не еврей продал, а человек продал, а и все апостолы евреями были!

Подошел милиционер – чего тут про евреев? – подошли молоденькие девчонки в пуховых шапочках – вот дает бабка! – но ни тот ни другие мешать не стали, замолчали, смущенно топтались, слушая кликушу.

– Родные мои! Сладкие мои! Евреев не ругайте!

...Парусная битва меркла, фрегаты тлели, угольками угасали в нарастающей темноте, но все-таки тень, прошедшая по стене, была еще видна. Она прошла, исчезла и вернулась. Остановилась в чуткой позе, тень тоненькой девушки, потом толкнула дверь и материализовалась внутри комнаты Кристиной.

– Хай, Мальборо? Вы здесь?

Хулиганская рука ее блуждала недолго и вскоре безошибочно опустилась в нужное место, взялась за язычок «молнии». В темноте он видел над собой светящиеся глаза Кристины и ее смеющийся рот, две полоски поблескивающих зубов. Потом упали вниз ее волосы и скрыли начинающийся девичий пир. Прикосновение слизистой оболочки, и сразу он ощутил мгновенный и мощный подъем.

– ...Спасибо, родные мои! Господь вас храни! А кто бабу Евдокию видеть хочет, так автобусом до станции Колядино пусть ехает, а там до Первой Пятилетки километр пеши, а изба наша с Сергунчиком – крайняя! Господь благослови! Дай Бог вам, сладкие мои, здоровья и мира! Утоли, Богоматерь, наши печали!

Чавканье размокшего снега под ногами, усиление музыки – «до самой далекой планеты не так уж, друзья, далеко...». Ослабление музыки, утробный хохот Сережи, радость олигофрена – сигарету получил, животные звуки, собственный голос:

– Можно, я с вами поеду?

– Ты кто таков будешь? Не наш? – Голос бабы Евдокии сразу перекрыл все звуки. Вот так они в старину созывали огромные толпы, без всяких микрофонов; особые голосовые данные русских кликуш.

– Нет, я русский, но из Крыма.

– Господь тебя благослови! Чего тебе с нами?

Невразумительное чавканье, оханье, кряхтенье – посадка в автобус. Визгливый голос, не хуже кликушеского, правда через микрофон:

– Граждане, оплачивайте за проезд!

Да как же они все там говорят, разве по-русски?

...Кристина хотела доминировать, но Лучников не любил амазонок, и после короткой борьбы вековая несправедливость восторжествовала – девушка была придавлена горой мышц. Предательская мысль, нередкая спутница лучниковских безобразий – «а вдруг упаду?» – появилась и сейчас, но девушка вовремя сдалась и тоненько и жалобно застонала, отдавая себя во власть свинскому племени мужчин, и он, ободренный капитуляцией, мощно вступил в сладкие и влажные пределы.

– ...Передайте за проезд. Куда вы давите? Да что это за люди? Ох, народ пошел – зверь! Ухм-ухм-ухм – Сережа... Булочку хотите пососать, приезжий? Следующая остановка – автовокзал! Ай-ай-ай, да куда же он катится? Гололед...

– Я вас хочу спросить, мать Евдокия.

– погоди, голубь мой, сначала я тебя спрошу: как у вас с продуктами в Крыму?

Шипенье пневмосистемы – открылись двери. Ворвался гул автостанции, крики – началась борьба на посадке.

– Вы где, простите, апельсины брали?

...Лучников забыл свои года и самозабвенно играл со слабенькой, но гибкой, постанывающей и вскрикивающей Кристиной, то мучил ее как наглый юноша-солдат, гонял, вбивал в тахту и в стенку, то вдруг наполнялся отеческими чувствами и нежно поглаживал мокрую кожу, то вдруг она как бы увеличивалась в размерах и представляла как бы матерью, а он – дитя, и он тогда обсасывал мочки ее ушей, ключицы и в этих паузах набирал силы, чтобы снова стать наглым солдатом-захватчиком.

...Тонкий мужской голосок повествовал соседу:

– Я с сестрой ехал из Рязани, а тут в вагон ребята пьяные зашли. Сестре говорят – айда, девка, с нами, и, значит, руками берут мою сестру. Отдыхайте, говорю, мальчишки, не мешайте людям отдыхать. Они мне в глаз зафилигранили и ушли. Ну, сижу и думаю, что за несправедливость.

Пришел в вагон мой друг Козлов, мы с ним вина выпили и пошли тех ребят искать. В соседнем вагоне нашли. Ну вот, сейчас поговорим по-хорошему! Тогда один из тех ребят локтем окно высаживает, вынимает длинную штуку стекла – такая у него находчивость – и начинает нас с Козловым этой штукой сажать, а другие нам выйти не дают. Вот вам и плачевные результаты: выписался из травматологии только вчера, а Дима еще лежит.

Голосишко все время уплывал, заглушался вдруг оглушительным газетным шорохом или кашлем, явственно доносился «Танец маленьких лебедей» из транзистора. Собственный голос:

– Вы лечите людей, мать Евдокия?

Жуткий вопль всего автобуса, визг тормозов, усиливающийся вопль, грохот, сдавленные крики, стоны, скрежет. Еб-вашу-мать-мать-вашу-еб-в-сраку-вашу-мать-в-рот-в-рот-меня-ебать-блядь-позорная-пиздорванец-пока-лечил-нас-всех-помогите-люди-добрые!

Катастрофа, минутное молчание.

...Итак, приближается момент истины. Сдержанно рыча, Лучников приспособливал девушку для последнего броска на колючую проволоку райских куш.

В следующий момент они сравнялись, потеряли и зависимость, и доминанту, и все свои разницы и барьеры, сцепились, извергая из себя восторги, и полетели, приближаясь, приближаясь, приближаясь – и впрямь как будто увидели осколок чего-то чудесного – и удаляясь, удаляясь, удаляясь, пока не отпали друг от друга.

Его всегда удивляло, как быстро, почти мгновенно после любовных актов он начинал думать о постороннем, о делах, о деньгах, о машинах... Сейчас, отпав от Кристины и тихо поглаживая ее дрожащее плечо, он мигом перенесся в грязно-снежные поля, откуда вытекали магнитофонные звуки и где в разбухшем кювете лежал на боку рейсовый автобус Владимир – Суздаль.

Сильно пострадавших не было. Кажется, кто-то руку сломал, кто-то ногу вывихнул, остальные отделались ушибами. Детишки выли, бабы стонали, мужчины матерились. Подтягиваясь, подсаживая друг друга, пассажиры выбирались из автобуса через левые двери, которые оказались теперь над головами. Лучников старался не смотреть на ужасное бабское белье под юбками. От Евдокии несло хлебом и мочой. Вдвоем с солдатом артиллерийских войск Лучников подсаживал бабу на выход, когда она вдруг запричитала:

– Сережа-то где? Сергунчика-то, родные мои, забыли? Где дитятко-то мое. Господи спаси! Сережечка, отзовись, мое золотце!

Дурак был завален в заднем углу кошелками и чемоданами. Тряслась его плешивая голова. Подвывая, он жрал апельсины, кусая их прямо через ячейки авоськи. Услышав зов, он вскочил с человеческим криком:

– Маманя!

Апельсиновый сок, ошметки кожуры на небритых Сережиных щеках.

Когда все выбрались, прыгнули в кювет и солдат с Лучниковым, сразу по пояс в грязную обжигающую холодную жижу.

– Великолепно, – все время говорил солдат. – Остановка великолепная.

На обочине уже стояло несколько грузовиков. По ледяной корке асфальта медленно юзом приближался автокран, ткнулся в кустики обочины и остановился. Остановился и встречный автобус. Толпа у места катастрофы росла.

– Я им, сукам, говорил, что нельзя в такой гололед выходить на линию! – кричал водитель упавшего автобуса. – Не выйдешь, говорят, партбилет положишь!

С мутных предвечерних небес пошел снег с дождем. Евдокия сидела на обочине, баюкала своего огромного дитя. Сережа всхлипывал, уткнувшись ей в распухший живот. Взыла сирена «скорой помощи». Появились две желто-синих милицеских машины.

– Мать Евдокия! – позвал Лучников.

Баба дико на него посмотрела, потом, видимо, узнала.

– Иди своей дорогой, приезжай, – незнакомым хриплым голосом сказала она. – Никого я не врачую и никаких ответов не знаю. Приезжай в Колядино летом, когда птахи поют, когда травка зеленая. Иди таперича!

– Благослови, мать Евдокия, – попросил Лучников.

Баба подняла было руку, но потом снова ее упрятала.

– Иди к своим немцам, в Крымю, у вас там церквей навалом, там и благословись.

Она отвернулась от Лучникова и выпатила нижнюю губу, как будто давая понять, что он для нее больше не существует.

– Очень великолепно! – гаркнул рядом солдат. Он уже тащил откуда-то стальной трос. – Сейчас бы бутылку – и полностью великолепно!

Лучников пошел по обочине обледеневшего шоссе в сторону города. Он поднял воротник своего кашемирового сен-жерменовского пальто, обхватил себя руками, но мокрый злой ветер России пронизывал его до костей, и кости тряслись, и, тупо глядя на тянущиеся в полях длинные однообразные строения механизированных коровников, он чувствовал свою полную непричастность ко всему, что его сейчас окружало, ко всему, что здесь произошло, происходит или произойдет в будущем. Последнее, что записал его магнитофон, был крик капитана милиции:

– Проезжай, не задерживайся!

...Пока он все это слушал и вспоминал, Кристина выбралась из-под его бока. Она взяла с подоконника какой-то маленький комочек, встряхнула его, и это оказалось ее платье. Вскоре она, причесанная и в платье, сидела у стола, курила и наливала себе в стакан херес.

– Что это за дикие звуки? – спросила она, подбородком показывая на магнитофон.

– Это вас не касается, – сказал Лучников.

Она кивнула, погасила сигарету и потянулась.

– Ну, я, пожалуй, пойду. Благодарю вас, сэр.

– Я тоже вам благодарен. Это было мило с вашей стороны.

Уже в дверях она обернулась:

– Один вопрос. Вы, наверное, думали, что к вам Памела придет?

– Честно говоря, я ничего не думал на этот счет.

– Пока, – сказала Кристина. – Памела там внизу с Тони. Пока, мистер Мальборо.

– Всего доброго, Кристина, – очень вежливо попрощался Лучников. Оставшись в одиночестве, налил себе стакан и закурил сигарету.

«Да, совсем не трудно переменить курс „Курьера“, – подумал он. – Нет ничего легче, чем презирать эту страну, нашу страну, мою, во всяком случае. Кстати, в завтрашнем номере как раз и идет репортаж о советских дорогах. Да-да, как это я забыл, это же внутренний диссидентский материал, ему цены нет. „Путешествие через страну кафе“. Анонимный материал из Москвы, талантливое издевательство над кошмарными советскими придорожными кафе. Быть может, этого достаточно, чтобы на несколько дней сберечь свою шкуру?»

Он повернулся на тахте и снял телефонную трубку – в принципе можно не отлучаться с этого лежбища, если и девки сами сюда приходят, и в Россию можно вернуться нажатием кнопки, и с газетой соединиться набором восьми цифр.

Ответил Брук. Бодрый нагловатый пьяноватый голос:

– Courier! Associate editor Brook is here.

– Сколько раз вам говорить, Саша, вы все-таки работаете в русской газете, – проворчал Лучников.

– Вот вляпался! – так же весело и еще более пьяновато воскликнул Брук. – Это вы, чиф? Не злитесь. Вы же знаете наши кошмарные парадоксы: многим читателям трудноато изъясняться по-русски, а на яки я не секу, не врубаюсь. Вот по-английски и сходимся.

– Что там нового из Африки, Саша?

– Могу вас обрадовать. Рамка прислал из Киншасы абсолютно точные сведения. Бои на границе ведут племена ибу и ебу. Оружие советское, мировоззрение с обеих сторон марксистское. Мы уже заслали это в набор. На первую полосу.

– Снимите это с первой полосы и поставьте на восьмую. Так будет посмешнее.

– Вы уверены, чиф, что это смешное сообщение?

– Мне представляется так. И вот еще что, Саша. Выньте из выпуска тот московский материал.

Пауза.

– Вы имеете в виду «Путешествие через страну кафе», Андрей?

– Да.

– Но...

– Что?

Пауза.

– Какого черта! – заорал Лучников. – В чем дело? Что вы там мнетесь, Саша?

– Простите, Андрей, но... – Голос Брука стал теперь вполне трезвым. – Но вы же знаете...

От нас давно уже ждут такого материала...

– Кто ждет? – завопил Лучников. Ярость, словно морская звезда, вцепилась в темную стену.

– Чем заменим? – холодно спросил Брук.

– Поставьте это интервью Самсонова с Сартром! Все! Через час я позвоню и проверю!

Он швырнул трубку, схватил бутылку, глотнул из горлышка, отшвырнул бутылку, крутанулся на тахте. От скомканного пледа пахло женской секрецией. Ишь, чем решили шантажировать – жизнью!

Снова схватил трубку и набрал тот же номер. Легкомысленное насвистывание. Брук уже насвистывает этот идиотский хит «Город Запорожье».

– Courier! Associate edi...

– Брук, извините меня, я сорвался. Я вам позже объясню...

– Ничего, ничего, – сказал Брук. – Все будет сделано, как вы сказали.

Лучников вдруг стал собираться. Куда собираюсь – неясно. С такой мордой нельзя собираться. В таких штанах нельзя никуда собираться: от них разит проституцией. Как женской

проституцией, так и мужской. Однако политической проституцией от них не пахнет. Для ночного Коктебеля сойдут и такие штаны. Ширинка будет наглухо застегнута. Это новинка для ночного Коктебеля – наглухо зашторенные штаны. Возьму с собой пачку денег. Где мои деньги? Вот советские шагреновые бумажки, вот доллары – к черту! Ассигнации Банка Вооруженных сил Юга России – это валюта! Яки, кажется, уже забыли слово «рубль». У них денежная единица – «тича». Тысяча – тыща – тича. Смешно, но в «Известиях» в бюллетенях курса валют тоже пишут «тича». Крымские тичи: за 1,0–0,75 рубля. Деньги охотно принимаются во всех «Березках», но делается вид, что это не русские деньги, не рубли, что на них нет русских надписей «одна... две... сто тысяч рублей... Банк Вооруженных Сил Юга России». Вот это странная, но тем не менее вполне принимаемая всем народом черта в современной России, в Союзе – не замечать очевидное. Пишут в своих так называемых избирательных бюллетенях: «Оставьте одного кандидата, остальных зачеркните», а остальных-то нет, нет и не было никогда! Фантастически дурацкий обман, но никто этого не замечает, не хочет замечать. Все хотят быть быдлом, комфортное чувство стада. Программа «Время» в советском ТВ – ежевечерняя лобэктомия. Однако и наши мастодонты мудачьи хороши – почему государственный банк с тупым упорством называется Банком Вооруженных Сил, да еще и Юга России??? Почему баронское рыло до сих пор на наших деньгах? Черт побери, если вы считаете себя хранителями русской культуры, изображайте на ассигнациях Пушкина, Льва Николаевича, Федора Михайловича... Экий герой – бездарный барон Врангель, спаситель «последнего берега Отечества». Быть может, это он создал Чонгарский пролив? А лейтенанта Бейли-Лэнда вообще не было? Лжецы и тупицы властвуют на русских берегах. Почему в Москве ко мне прикрепляют переводчика? Товарищи, посудите сами – зачем мне переводчик, нелепо мне ходить по Москве с переводчиком. Стучать на меня бессмысленно, секретов-то нету, это вы знаете. Спасибо и на этом. Но для чего же тогда? У нас так полагается – к важным гостям из-за границы прикрепляется переводчик. То есть вроде бы в Крыму не говорят по-русски? Вот именно. Ты же знаешь, Андрей, что, когда Сталин начал налаживать кое-какие связи с Крымом, он как бы установил, что там никто не говорит по-русски, что русским духом там и не пахнет, что это вроде бы совершенно иностранное государство, но в то же время как бы и не государство, как бы просто географическая зона, населенная неким народом, а народы нами любимы все как потенциальные потребители марксизма. Однако, возражаю я, ни Сталин, ни Хрущев, ни Брежнев никогда не отказывались от претензий на Крым как на часть России, не так ли? Верно, говорят умные друзья-аппаратчики. В территориальном смысле мы не отказываемся и никогда не откажемся и дипломатически Крым никогда не признаем, но в смысле культурных связей мы считаем, что там у вас полностью иноязычное государство. Тут есть какой-то смысл? Неужели не понимаешь, Андрюша? Тут глубочайший смысл – таким образом дается народу понять, что русский язык вне социализма немыслим. Да ведь вздор полнейший, ведь все знают, что в Крыму государственный язык русский. Все знают, но как бы не замечают, вот в этом вся и штука. В этом, значит, вся штука? Да-да, именно в этом. Ну, вот ведь и сам ты говоришь, что и у вас там много козлов, ну вот и у нас, Андрей, козлов-то немало. Конечно, вздор, конечно, анахронизм, но в некотором смысле полезный, цементирующий, как и многие другие сталинские анахронизмы. Да ведь, впрочем, Андрей Арсеньевич, тебя действительно иногда надо переводить на современный русский, то есть советский. Меня? Никогда не надо! Я, смею утверждать, говорю на абсолютно современном русском языке, я даже обе фени знаю – и старую и новую. Ах так? Тогда попробуй приветствовать телезрителей. Пожалуйста – «Добрый вечер, товарищи!». Ну вот, вот она и ошибка – надо ведь говорить: «Добрый вечер, дорогие товарищи», об интонации уж умолчим. Интонация у тебя, Андрей, совсем не наша. Знаем, знаем, что ты патриот, и твою Идею Общей Судьбы уважаем, грехи твои перед Родиной забыты, ты – наш, Андрей, мы тебе доверяем, но вот фразу «Нет слов, чтобы выразить чувство глубокого удовлетворения» – тебе не одолеть. Так обычно мирно глумился над Лучниковым новый его друг – не разлей

вода, умнейший и хитрейший Марлен Кузенков, шишка из международного отдела ЦК. Значит, нечто общее есть и в Москве, и в Симферополе? Общее нежелание замечать существующие, но неприятные факты, цепляние за устаревшие формы: все эти одряхлевшие «всероссийские учреждения» в Крыму, куда и мухи уже не залетают, и элитарное неприсоединение к гражданам страны, которой мы сами же и управляем, – это словечко «врэвакуант» и московское непризнание русских на Острове, и все их бюллетени, и почему-то Первая конная армия, когда ни слова о Второй, и почему-то в юбилейных телефильмах об истории страны ни Троцкого, ни Бухарина, ни Хрущева – куда же канул-то совсем недавненький Никита Сергеевич, кто же Гагарина-то встречал? – да все эти московские фокусы с неупоминаниями и не перечислишь, но... но раз и у нас тут существует такая тенденция, значит, может быть, и не в тоталитаризме тут отгадка, а, может быть, просто в некоторых чертах национального характера-с? Характерец-то, характериска-то у нас особенный. Не так ли? У кого, например, еще существует милейшая поговорочка «Сор из избы не выносить»? Кельты, норманны, саксы, галлы – вся эта свора избы небось свои очищала, вытряхивала сор наружу, а вот гордый внук славян заметал внутрь, имея главную цель – чтоб соседи не видели. Ну а если все эти гадости из национального характера идут, значит все оправданно, все правильно, ведь мы же и говном себя называем, а вот англичанин говном себя не назовет.

Придя в конце концов после довольно продолжительных размышлений к этому несколько вонючему выводу, Андрей Арсеньевич Лучников обнаружил себя несущимся в своей рывкающей машине по серпантину, который переходил сразу в главную улицу Коктебеля, заставленную многоэтажными отелями. Обнаружив себя здесь, он как бы вспомнил свои предшествующие движения: вот вышел, размахивая пачкой «тичей», из Гостевой башни, вот энергично двигался по галерее, вот чуть притормозил, увидев на парапете неподвижный контур Кристины, вот прошел мимо, вот засвистал что-то демонстративно старомодное, «Сентиментальное путешествие», вот чуть притормозил, увидев в освещенном окне библиотеки молчаливо стоящую фигуру отца, вот прошел мимо во двор и перепрыгнул, словно молодой, через бортик «Питера», услышал призывный возглас Фредди: дескать, возьми с собой, и тут же включил зажигание.

Сейчас, обнаружив себя среди ночи подъезжающим к значным местам своей юности и вспомнив все свое сегодняшнее поведение, Андрей Арсеньевич так изумился, что резко затормозил. Что происходит сегодня с ним? Он обернулся. Зеленое небо в проеме улицы, серп луны над контуром Сюрю-Кая. В боковой улочке, уходящей к морю, медленно вращается светящийся овал найт-клаба «Калипсо». Пронзительный приступ молодости. Ветер, прилетевший из Библейской долины, согнул на миг верхушки кипарисов, вспенил и посеребрил листву платана, взбудоражил и закрутил Лучникова. Что обострило сегодня все мои чувства – появившаяся опасность, угроза? Совершенно забытое появилось вновь – простор и обещания коктейльской ночи.

У входа в «Калипсо» стояло десятка полтора машин. Несколько стройных парней-яки пританцовывали на асфальте в меняющемся свете овала. Вход – 15 тичей. За двадцать лет, что Лучников здесь не был, заведение стало фешенебельным. Когда-то здесь в гардеробной висела большая картина, которую лучниковская компания называла «художественной». На ней была изображена нимфа Калипсо с большущими грудями и татарскими косами, которая с тоской провожала уплывающего в пенных волнах татарина Одиссея. Теперь в той же комнате по стенам висел изысканнейший трех-, а может быть, и четырехсмысленный рельеф, изображающий приключения малого как сперматозоид Одиссея в лоне гигантской, разваленной на десятки соблазнительных кусков Калипсо. Все это было подсвечено, все как бы дышало и трепетало, двигались кинетические части рельефа. Лучников подумал, что не обошлось в этом деле без новых эмигрантов. Уж не Нусберг ли намудрил?

Едва он вошел в зал и направился к стойке, как тут же услышал за спиной чрезвычайно громкие голоса:

– Смотрите, господа, редактор «Курьера»!

– Андрей Лучников собственной персоной!

– Что бы это значило – Лучников в «Калипсо»? – Говорили по-русски и явно для того, чтобы он обернулся.

Он не обернулся. Присев к стойке, он заказал «Манхэттен» и попросил бармена сразу после идиотской песенки «Город Запорожье» – должно быть, не меньше десяти раз уже крутили за сегодняшний вечер? Не менее ста, сэр, у меня уже мозжечок расплавился, сэр, от этого «Запорожья»! – так вот сразу после этого включите, пожалуйста, музыку моей юности «Serenade in Blue» Глена Миллера. С восторгом, сэр, ведь это и моя юность тоже. Не сомневался в этом. Мне кажется, сэр, я вас уже встречал. Еще сомневаетесь? Не исключено, что вы из Евпатории, сэр. Кажется, там у вас отель. Смешно, Фадеич... Как вы меня?... Смешно, говорю, Фадеич, прошло двадцать лет, я стал знаменитым человеком, а ты так и остался занюханым буфетчиком, но вот я тебя прекрасно узнаю, а ты меня, хер моржовый, не узнаешь. Андрюша! Хуюша! Не надо сквернословить! Ну а обняться-то можно, а? Слегка всплакнуть? Слышишь серебряные трубы – Глен Миллер бэнд!.. Голубая серенада, 1950 год, первые походы в «Калипсо»... первые поцелуи... первые девушки... драки с американскими летчиками...

Хлопая по спине и по скуле Фадеича, слушая свинговые обвалы Миллера, Лучников вдруг осознал, что привело его в эту странную ночь именно сюда – в «Калипсо». В юности здесь всегда была пленительная атмосфера опасности. Неподалеку за мысом Хамелеон находилась американская авиабаза, и летчики никогда не упускали возможности подраться с русскими ребятами. Быть может, и сегодня, неожиданно помолодев от ощущения опасности, от словца «покушение», Лучников почувствовал желание бросить вызов судьбе, а где же бросить вызов судьбе, как не в «Калипсо».

Признаться в этом даже самому себе было стыдно. Все здесь переменялось за два десятилетия. Клуб стал респектабельным, дорогим местом вполне благопристойных развлечений верхушки среднего класса, секс перестал быть головокружительным приключением, а летчики, постарев, демонтировали базу и давно уже отбыли в свои Миллуоки.

Остался старый Фадеич и даже вспомнил меня, это приятно. Сейчас допью «Манхэттен» и уеду домой в Симфи и завтра в газету, а через три дня в самолет – Дакар, Нью-Йорк, Париж, конференция против апартеида, сессия Генеральной Ассамблеи, встреча редакторов ведущих газет мира по проблеме «Спорт и политика» и, наконец, Москва.

Вдруг он увидел в зеркале за баром своего сына, о котором он, планируя следующую неделю, гнуснейшим образом забыл. Что же удивляться – мы потеряли друг друга, потому что не ищем друг друга. Распланировал всю неделю – Дакар, Нью-Йорк, Париж, Москва – и даже не вспомнил о сыне, которого не видел больше года.

С кем он сидит? Странная компания. В глубине зала – в нише – бледное длинное лицо Антошки, золотая головка Памелы на его плече, а вокруг за столом четверо плотных мужланов в дорогих костюмах, браслеты, золотые «Ролексы». Ага, должно быть, иностранные рабочие с Арабатской стрелки.

– Там мой сын сидит, – сказал он Фадеичу.

– Это твой сын? Такой длинный.

– А кто там с ним, Фадеич?

– Не знаю. Первый раз вижу. Это не наша публика.

Нынешний Фадеич за стойкой как завкафедрой, седовласый мэтр, а под началом у него три шустрых итальянца. Лучников махнул рукой и крикнул сыну:

– Антоша! Памела! Идите сюда! Приготовь шампанского, Фадеич, – попросил старого друга.

Щелчок пальцами – серебряное ведро с бутылкой «Вдовы» мигом перед нами. Однако где же наш сын? В конце концов, необходимо познакомить его с Фадеичем, передать эстафетную палочку поколений. Не хочет подойти – пренебрегает? Generation gap? В зеркале Лучников, однако, видел, что Антон хочет подойти, но каким-то странным образом не может. Он сидел со своей Памелой в глубине ниши, а четверо богатых дядек вроде бы зажимали его там, как будто не давали выйти. Какие-то невежливые.

– Какие-то там невежливые, – сказал Лучников Фадеичу и заметил, что тот весьма знакомым образом весь подобрался – как в старые времена! – и сощуренными глазами смотрит на невежливых.

– That's true, Андрей, – проговорил медленно и так знакомо улыбаясь Фадеич. – Они невежливые.

Подхваченный восторгом, Лучников прыгнул с табуретки.

– Пойду поучу их вежливости, – легко сказал он и зашагал к нише.

Пока шел под звуки «Голубой серенады», заметил, что симферопольские интеллектуалы смотрят на него во все глаза.

Подойдя, Лучников взял руку одного из дядек и сжал. Рука оказалась на удивление слабой. Должно быть, от неожиданности: у такого мордоворота не может быть столь слабая рука. Лучников валял эту руку, чуть ли не сгибал ее.

– В чем дело, Антоша? – спросил он сына. – Что это за люди?

– Черт их знает, – пробормотал растерянно Антон. Как растерялся, так небось по-русски заговорил. – Подошли к нам, сели и говорят – вы отсюда не выйдете. Что им надо от нас – не знаю.

– Сейчас узнаем, сейчас узнаем. – Лучников крутил слабую толстую руку, а другой свободной рукой взялся расстегивать пиджак на животе незнакомца. В старые времена такой прием повергал противника в панику.

Между тем к нише подходили любопытные, и среди них симфи-пипл, те, что его знали. С порога за этой сценой наблюдал дежурный городской. Кажется, Фадеич с ним перемигивался.

Четверо были все мужики за сорок и говорили на яки с уклоном в татарщину, как обычно изъяснялись на острове турки, работающие в «Арабат ойл компани».

– Гив май хэнд, ага, – попросил Лучникова пленник. – Кадерлер вери мач, пжалста, Лучников-ага.

Лучников отпустил руку и дал им всем выйти из ниши, одному, другому, третьему, а на четвертого показал сыну:

– Поинтересуйся, Антон, откуда джентльменам известно наше имя.

Мальчик быстро пошел за четвертым и в середине зала мгновенным и мощным приемом карате зажал его. Лучников пришел в восторг. Этот прием был как бы жестом дружбы со стороны Антона: несколько лет назад они вместе брали уроки карате.

– Откуда ты знаешь моего отца? – спросил Антон.

– Ти Ви... яки бой... Ти Ви... юк мэскель... кадерлер... ма-ярта... сори мач... – кряхтел четвертый.

– Он тебя на телевизии видел, – как бы перевел Антон. – Извиняется.

– Отпусти его, – сказал Лучников.

Он хлопнул сына по плечу, тот ткнул его локтем в живот, а Памела, хохоча, шлепнула обоих мужчин по задкам. Четверо мигом улетучились из «Калипсо». Городовой, засунув руки за пояс с мощным кольцом, вышел вслед за ними. Симфи-пипл аплодировал. Сцена получилась как в вестерне. Молодым огнем сияли глаза Фадеича.

Они выпили шампанского. Памела с интересом посматривала на Лучникова, должно быть прикидывая, была ли у него Кристина и что из этого вышло. «Очевидно, возможен был и другой вариант», – решил Лучников. Антон рассказывал Фадеичу разные истории о карате,

как ему пригodiлось его искусство в разных экзотических местах мира. Фадеич серьезно и уважительно кивал.

Когда они втроем вышли на улицу, обнаружилось, что три колеса дедушкиного «лендровера» пропороты ножом. «Неужели СВРП занимается такими мелкими пакостями? – подумал Лучников. – Может быть, сам Иг-Игнатьев? На него это похоже».

К ним медленно, все та же шерифская кинематографическая походочка, подходил городской. Рядом кучкой брели присмирившие четверо злоумышленников.

– Видели, офицер? – Лучников показал городовому на «лендровер».

– Эй, вы, – позвал городской четверых. – Расскажите господам, что вы знаете.

Четверо сбивчиво, но с готовностью стали рассказывать. Оказалось, что они попросту шли в «Калипсо» повеселиться, когда к ним подошел какой-то ага, предложил двести тичей... двести тичей? Вот именно – двести... и попросил поугаать «щенка Лучникова». Ну, настроение было хорошее, ну вот и согласились сдуру. Оказалось, что этот ага все время сидел в «Калипсо» и за всей этой историей наблюдал, а потом выскочил перед ними на улицу, проткнул даггером шины у «лендровера», сел в свою машину и укатил. Ярко-желтый, ага, сори мина, старый «форд», кандерлер.

– А какой он был, тот ага? – спросил Лучников. – Вот такой? – И попытался изобразить Игнатьева-Игнатьева, как бы оскалиться, расслюнявиться, выкатиться мордой вперед в ступорозном взгляде.

– Си! Си! – с восторгом закричали они. – Так, ага!

– Вы знаете его? – спросил городской Лучникова.

– Да нет, – махнул рукой Лучников. – Это я просто так. Должно быть, псих какой-нибудь. Забудьте об этом, офицер.

– Псих – это самое опасное, – наставительно проговорил городской. – Нам здесь психи не нужны. У нас тут множество туристов, есть и советские товарищи.

Тут на груди у него забормотал и запульсировал уоки-токи, и он стал передавать в микрофон приметы «психа», а Лучников, Антон и Памела зашли за угол, где и обнаружили красный «турбо» в полной сохранности.

– Можете взять мой кар, ребята, – сказал Лучников. – А я тут немного поброжу в одиночестве.

– Да как же ты, па... – проговорил Антон.

Памела молчала, чудно спокойно улыбаясь, прижавшись щекой к его плечу. Лучников подумал: вполне сносная жена для Антошки. Вот бы поженились гады.

– У меня сегодня ночь ностальгии, – сказал он. – Хочу побродить по Коктебелю. Да ты не бойся, я вооружен до зубов. – Он хлопнул себя по карману «сафари», где и в самом деле лежала «беретта».

Медленно растворялось очарование ночи, малярийный приступ молодости постепенно проходил. Гнусоватое выздоровление. Ноги обрели их собственную тяжесть. Лучников шел по Коктебелю и почти ничего здесь не узнавал, кроме пейзажа. Тоже, конечно, не малое дело – пейзаж.

Вот все перекааты этих гор, под луной и под солнцем, соприкосновение с морем, скалы и крутые лбы, на одном из которых у камня Волошина трепещет маслина, – все это столь отчетливо указывает нам на вездесущее присутствие Души. Вдруг пейзаж стал резко меняться. Лунный профиль Сюри-Кая значительно растянулся, и показалось, что стоишь перед обширной лунной поверхностью, изрезанной каньонами и щелями клыкастых гор. Ошеломляющая новизна пейзажа! За волошинским седым холмом вдруг вырос некий базальтовый истукан. Шаг в сторону – из моря поднимается неведомая прежде скала с гротом у подножия... Тогда он вспомнил: Диснейленд для взрослых! Он уже где-то читал об этом изобретении коктебельской скупающей администрации. Так называемые «Аркады Воображения». Экое свинство –

ни один турист не замечает перехода из мира естественного в искусственный: первозданная природа вливается сюда через искусно замаскированные проемы в стенах. Вливается и дополняется замечательными имитациями. Каждый шаг открывает новые головокружительные перспективы. У большинства посетителей возникает здесь особая эйфория, необычное состояние духа. Не забыта и коммерция. Там и сям в изгибах псевдомира разбросаны бары, ресторанчики, витрины дорогих магазинов. Никому не приходит в голову считать деньги в «Аркадах Воображения», тогда как швырять их на ветер считает своим долгом каждый.

За исключением, конечно, «советских товарищей». Гражданам развитого социализма швырять нечего, кроме своих суточных. Эйфория и у них возникает, но другого сорта, обычная советская эйфория при виде западных витрин. Вежливо взирая на коктебельские чудеса, дисциплинированно тащась за гидами, туристские группы с севера, конечно же, душой влекутся не к видам «воображения», но к окнам Фаберже, Тестова, Сакса, мысленно тысячный раз пересчитывая валюту, все эти паршивые франки, доллары, марки, тичи...

В глухой и пустынный час Лучников увидел в «Аркадах Воображения» вдалеке одинокую женскую фигуру. Без сомнения, советский человек, кто же еще посреди ночи на перекрестке фальшивого и реального миров, под накатом пенного и натурально шипящего, но тем не менее искусственного прибора, будет столь самозабвенно изучать витрину парфюмерной фирмы.

Лучников решил не смущать даму и пошел в сторону, поднимаясь по каким-то псевдостаринным псевдоступеням, пока вдруг не вышел в маленькую уютную бухточку, за скалами которой светился лунный простор. Здесь оказалось, что он не удалился от дамы и парфюмерной витрины, а, напротив, значительно приблизился.

Она его не замечала, продолжая внимательнейшую инспекцию и чтение призывов Елены Рубинштейн, и он мог бы теперь, если бы верил своим глазам, внимательно ее рассмотреть, но он не поверил своим глазам, когда увидел ее ближе.

Он сделал еще несколько шагов в сторону от советской дамы и таким образом приблизился к ней настолько, что теперь уже трудно было глазам своим не поверить...

Он смотрел на ее плащ, туго перетянутый в талии, на милый пук выцветших волос, небрежно схваченный на затылке, на загорелое красивое лицо и лучики морщинок, идущие к уху, будто вожжи к лошади. Она, прищурившись, смотрела на флаконы, тюбики, банки и коробки и тихо шевелила потрескавшимися губами, читая английский текст. «Такую женщину невозможно симитировать, – подумал Лучников. – Поверь своим глазам и не отмахивайся от воспоминаний».

– Таня! – позвал он.

Она вздрогнула, выпрямилась и почему-то зажала ладонью рот. Должно быть, голос его раздался прямо у нее над ухом, ибо он видел, как она осматривается вокруг, ища его на близком расстоянии.

– Андрей, это ты?! – донесся до него отчаянно далекий ее голос. – Где ты? Андрей!

Он понимал: здесь «Аркада Воображения», эти мерзавцы все перепутали, и она может его увидеть, как крохотную фигурку вдалеке, и тогда он стал махать ей обеими руками, стащил куртку, махал курткой, пока наконец не понял, что она заметила его. Радостно вспыхнули ее глаза. Ему захотелось тут же броситься и развязать ей кушак плаща и все с нее мигом стащить, как, бывало, он делал в прошлые годы.

И вот началась эйфория. Подняв руки к небу, Андрей Арсеньевич Лучников стоял посреди странного мира и чувствовал себя ошеломляюще счастливым. Система зеркал, отсутствие плоти, акустика, электронная пакость, но так или иначе, я вижу ее и она видит меня.

Отец, сын, любовь, прошлое и будущее – все соединилось и взбаламутилось непонятной надеждой. Остров и Континент, Россия... Центр жизни, скрещение дорог.

– Танька, – сказал он. – Давай-ка поскорей выбираться из этой чертовой «комнаты смеха».

Арсений Николаевич, разумеется, не спал всю ночь, много курил, вызвал приступ кашля, отвратительный свист в бронхах, а когда наконец успокоилось, еще до рассвета, открыл в кабинете окно, включил Гайдна и сел у окна, положив под маленькую лампочку том русской философской антологии. Открыл ее наугад – оказался Павел Флоренский.

Прочсть ему, однако, не удалось ни строчки. В предрассветных сумерках через перила солярия перелез Антошка и зашлепал босыми ногами прямо к окну дедовского кабинета. Сел на подоконник. Здоровенная ступня рядом с антологией. Вздохнул. Посмотрел на розовеющий восток. Наконец спросил:

– Дед, можешь рассказать о самом остром сексуальном переживании в твоей жизни?

– Мне было тогда примерно столько же, сколько тебе сейчас, – сказал дед Арсений.

– Где это случилось?

– В поезде, – улыбнулся дед Арсений и снова закурил, позабыв о недавнем приступе кашля. – Мы отступали, попросту драпали, Махно смешал наши тылы, Москву мы не взяли и теперь бежали к морю. Однажды остаток нашей роты, человек двадцать пять, погрузился в какой-то поезд возле Елизаветграда. Елки точеные, поезд был битком набит девицами, в нем вывозили «смолянок». Бедные девочки, они потеряли своих родных, не говоря уже о своих домах, больше года их состав кочевал по нашим тылам. Они были измученные, грязненькие, но наши, наши девочки, те самые, за которыми мы еще недавно волочили, вальсировали, понимаешь ли, приглашали на каток. Они тоже нас узнали, поняли, что мы свои, но испугались – во что нас превратила Гражданская война – и, конечно, приготовились к капитуляции. Свою девушку я сразу увидел, в первом же купе, ее личико и острые плечики, у меня, милейший, просто голова закружилась, когда я понял, что это моя девушка. Не знаю, откуда только наглость взялась, но я почти сразу пригласил ее в тамбур, и она тут же встала и пошла за мной. В тамбуре были мешки с углем, я постелил на них свою шинель, а винтовку поставил рядом. Я посадил ее на мешки, она подняла юбку. Никогда, ни до, ни после, я острее не чувствовал физической любви. Поезд остановился на каком-то полустанке, какие-то мужики пытались разбить стекло и влезть в тамбур, но я показывал им винтовку и продолжал любить мою девушку. Мужики тогда поняли, что происходит, и хохотали за стеклом. Она, к счастью, этого не видела, она сидела спиной к ним на мешках.

– Потом ты ее потерял? – спросил Антон.

– Да, потерял надолго, – сказал дед Арсений. – Я встретил ее много лет спустя, в 1931 году в Ницце.

– Кто же она? – спросил Антон.

– Вот она, – дед Арсений показал на портрет своей покойной жены, матери Андрея.

– Бабка?! – вскричал Антон. – Арсений, неужели это была моя бабушка?

– Sure, – смущенно сказал дед почему-то по-английски.

II. Программа «Время»

Татьяна Лунина вернулась из Крыма в Москву утром, а вечером уже появилась на «голубых экранах». Помимо своей основной тренерской работы в юниорской сборной по легкой атлетике, она была еще и одним из семи спортивных комментаторов программы «Время», то есть она, Татьяна сия, была личностью весьма популярной. Непревзойденная в прошлом барьеристка – сто десять метров сумасшедших взмахов чудеснейших и вечно загорелых ног, полет рыжей шевелюры и финишный порыв грудью к заветной ленточке, – она унесла из спорта и рекорд, и чемпионское звание, и если звание, что естественно, на следующий год отошло к другой девчонке, то рекорд держался чуть ли не десять лет, только в прошлом году был побит.

Она вернулась в Москву взбаламученная неожиданным свиданием с Андреем (ведь решено было еще год назад больше не встречаться, и вот все снова), весь полет думала о нем, даже иногда вздрагивала, когда думала о нем с закрытыми глазами, а глаза и открывать-то не хотелось, она просто обо всем на свете позабыла, кроме Андрея, и уж прежде всего позабыла о своем законном супруге, супружнике, или, как она его попросту называла, – «Суп». Однако он-то о ней, как обычно, не забыл, и первое, что она выделила из толпы за таможенным барьером, была статная фигура супруга – десятиборца. Приехал встречать на своей «Волге», со всем своим набором московского шика: замшевым пиджаком, часами «Сейко», сигаретами «Винстон», зажигалкой «Ронсон», портфелем «дипломат» и маленькой сумочкой на запястье, так называемой «пидараской». Чемоданчиком своим, поглядыванием на «Сейку», чирканьем «Ронсоном», а также озабоченным туповато-быковатым взглядом муж как бы показывал всем окружающим, возможным знакомым, а может быть, и самому себе, что он здесь чуть ли не случайно, просто, дескать, выдался часок свободного времени, вот и решил катануть в Шереметьево встретить супружницу. Тане, однако, достаточно было одного взгляда, чтобы понять, как он ее ждет, с каким подсасыванием внизу живота, как всегда предвкушает. Достаточно было одного взгляда, чтобы вспомнить о пятнадцатилетних отношениях, обо всем этом: медленное размеренное раздевание, притрагиванье к соскам и к косточкам на бедрах, нарастающий с каждой минутой зажим, дрожь его сокрушительной похоти и свою собственную мерзевшую сладость. Пятнадцать лет, день за днем, и больше ему ничего не надо.

– Вот такие дела, Танька, вот такие, Татьяна, дела, – говорил он по дороге из аэропорта, вроде бы рассказывая о чем-то, что произошло в ее отсутствие, сбиваясь, повторяя, чепуху какую-то нес, весь сосредоточенный на предвкушении. В Москве, конечно, шел дождь. Солнце, ставшее здесь в последние годы редким явлением природы, бледным пятчком висело в мутной баланде над черными тучами, наваливавшимися на башни жилквартала, на огромные буквы, шагающие с крыши на крышу: «Партия – ум, честь и совесть нашей эпохи!» Тане хотелось отвернуться от всего этого сразу – столь быстрые перемены в жизни, столь нелепые скачки! – но она не могла отвернуться и смотрела на тучи, на грязь, летящую из-под колес грузовиков, на бледный пятка и огненные буквы, на быковатый наклон головы смущенного своим бесконечным предвкушением супруга и с тоской думала о том, как быстро оседает поднятая Лучниковым сердечная смута, как улетает в прошлое, то есть в тартарары, вечный карнавал Крыма, как начинается уже и в ней самой пошевеливаться пятнадцатилетнее привычное предвкушение.

Он хотел было начать свое дело чуть ли не в лифте, потом на площадке, и в дверях, и, конечно, дальше прихожей он бы ее не пропустил, но вдруг она вспомнила Лучникова, сидящего напротив нее в постели, освещенного луной и протягивающего к ней руку, вспомнила и окаменела, зажалась, дернулась, рванулась к дверям. Вот идиотка, забыла, вот ужас, забыла сдать, нет-нет, придется подождать, милейший супруг, да нет же, мне нужно бежать, я забыла сдать, да подожди же в самом деле, пусти же в самом деле, ну как ты не понимаешь, забыла сдать валютные документы! Какая хитрость, какой инстинкт – в позорнейшей возне, в диком

супружеском зажиме сообразила все-таки, чем его можно пронять, только лишь этим, каким-нибудь священным понятием: валютные документы – он тут же ее отпустил. Татьяна выскочила, помчалась, не дав ему опомниться, скакнула в лифт, ухнула вниз, вырвалась из подъезда, перебежала улицу и, уже плюхаясь в такси, заметила на балконе полную немого отчаяния фигуру супруга, статуя Титана с острова Пасхи.

В Комитете ей сегодня совершенно нечего было делать, но она ходила по коридорам очень деловито, даже торопливо, как и полагалось тут ходить. Все на нее глазели: среди рутинного служилого люда, свыкшегося уже с застоявшейся погодой, она, загорелая и синеглазая, в белых брюках и в белой же рубашке из плотного полотна – костюм, который ей вчера купил Андрей в самом стильном магазине Феодосии, – она выглядела существом иного мира, что, впрочем, частично так и было: ведь вчера еще вечером неслась в «литере» под сверкающими небесами, вчера еще ночью в «Хилтоне» мучил ее любимый мужик, вчера еще ужинали во французском ресторане на набережной, смотрели на круизные суда и яхты со всех концов мира, а над ними каждые четверть часа пролетали в темном небе «боинги» на Сингапур, Сидней, Дели... и обратно.

Вот так дохожусь я тут в Комитете проклятом до беды, подумала она, и действительно доходилась. Из Первого отдела вышла близкая подруга секретарша Веруля с круглыми глазами.

– Татьяна, «телега» на тебя, ну поздравляю, такую раньше и не читала.

– Да когда же успели?

– Успели...

– А кто?

– Не догадываешься?

Она догадывалась, да, впрочем, это и не имело значения, кто автор «телеги». Она и не сомневалась ни на минуту, что после встречи с Лучниковым явится на свет «телега». Поразила ее лишь оперативность – сразу, значит, с самолета стукач помчался в Первый отдел.

– Ой, мамочка, там написано, деточка-лапочка, будто ты две ночи с белогвардейцем в отеле жила. Врут, конечно?

Они устроились в закутке, за машбюро, куда никто не заходил, и там курили привезенные Татьяной сигареты «Саратога».

Веруля, запойная курильщица, готова была за одну такую сигарету продать любую государственную тайну.

– Не врут? Ну поздравляю, Танька. Да я не за две, а за одну такую ночь, за полночи, за четвертиночку всю эту шарашку со всеми стукачами на хер бы послала.

«Дела, – подумала Татьяна Лунина, так и подумала в манере своего мужа, – ну и дела». Как ни странно, атмосфера Комитета со снующими по коридорам бывшими чемпионами успокаивала и бодрила. Все эти деятели спортивного ведомства сами были либо героями каких-либо «телег», либо сочинителями, а часто и тем и другим одновременно. То и дело кто-нибудь становился «невыездным» на год – на два – на три, но если за это время не опускался, не спивался, не «выпадал в осадок», в конце концов его снова начинали посылать сначала в соц-, а потом и в капстраны. Так что иначе как словом «дела» об этом и не подумаешь, да и думать не стоит. Мысль об Андрее в этот момент Татьяну не посетила. Она подарила Веруле всю парфюмерию, которая у нее оказалась в сумке, и рассказала о белом костюме, который вроде вот и не глядится здесь в Москве, а между тем куплен в феодосийском «Мюр и Мерилизе» за шестьсот тичей, и там-то он глядится, любой западный человек с первого взгляда понимает, где такая штука куплена. Тут до нее в закуток стало иногда долетать ее собственное имя. «Лунину не видели?» «Говорят, Таня Лунина здесь». «Сергей Палыч спрашивал – не здесь ли товарищ Лунина?» Она поняла, что нужно побыстрее смыться.

– Какая странная жизнь, – вздохнула прыщеватая лупоглазенькая Веруля. – Ведь здесь за такой костюм и двадцатника не дадут, а джинсовка идет за двести. Сколько стоит, Танька, в Крыму джинсовый сарафан с кофточкой?

– Тридцать пять тичей, – с полной осведомленностью сказала Татьяна. – А на «сейле» можно и за двадцать.

– Ах, как странно, как странно... – прошептала Веруля.

Тут прошел по близкому коридору какой-то массовый топот, голоса, стук дверей, и сразу все затихло: началось собрание. Татьяна тогда быстро расцеловала погруженную в размышления Верулю, выскочила в коридор, прошлепала вниз по лестнице, распахнула двери в переулок и увидела напротив зеленую «Волгу» и за рулем истомившегося ожиданием супруга. «Ну, ничего не поделаешь», – подумала тогда она и направилась к машине. Наличие «телеги» в секретном отделе как бы приблизило к ней мужа, и в предстоящем совокуплении уже не виделось ей ничего противоестественного.

И все-таки опять сорвались у супруга сокровенные планы. Какие-то злые силы держали его сегодня за конец на вечном взводе. Эдакие сверхнагрузки, перегрузки не всякий и выдержит без соответствующей подготовки. Едва они подъехали к своему кооперативу на бетонных лапах – «чертог любви», так его застенчиво называл в тайниках души бывший десятиборец, – как тут же у него сердце екнуло: у подъезда стоял «рафик» с надписью «Телевидение», а на крыльце валандались фраера из программы «Время» – явно по Танькину душу. Оказалось, некому сегодня показаться на экране: из всех споркомментаторов одна Лунина в городе. А если бы самолет опоздал, тогда как бы обошлось? Тогда как-нибудь обошлись бы, а вот сейчас никак не обойдемся. Логика, ничего не скажешь. Что же это за жизнь такая пошла, законный супруг законной супруге целый день не может вправить. Какой-то скос в жизни, не полный порядок.

Даже Татьяна немного разозлилась и, разозлившись, тут же поняла, что это уже московская злость и что она уже окончательно вернулась в свой настоящий мир, а Андрей Лучников снова – в который уже раз – уплыл в иные, не вполне реальные пространства, куда вслед за ним уплыл и Коктебель, и Феодосия, и весь Крым, и весь Западный мир.

Тем не менее она появилась в этот вечер на экранах на обычном фоне Лужников какая-то невероятная и даже идеологически не вполне выдержанная. Она читала дурацкие спортивные новости, а миллионам мужиков по всей стране казалось, что она вещает откровения Эроса. Супруг имел ее на ковре у телевизора. Он так все-таки умело сконцентрировался, что теперь доводил ее до изнеможения. Он был влюблен в каждую ее жилочку и весьма изощрен в своем желании до каждой жилочки добраться. Надо сказать, что он никогда ее не ревновал: хочешь романтики, ешь на здоровье, трахаешься на стороне, ну и это не беда, лишь бы мне тоже обламывалось.

III. Хуемотина

Виталий Гангут ранее, еще год назад, находя в себе какие-либо малейшие признаки старения, очень расстраивался, а теперь вот как-то пообвыкся: признаки, дескать, как признаки – ну волосок седой полез, ну хруст в суставах, ну что-то там иногда с мочевым пузырем случается, против биологии не очень-то возразишь. Призванная на помощь, верная спутница жизни ирония весьма выручала. Как же иначе прикажете встречать все эти дела, как же тут обойдешься без иронии? Веселое тело кружилось и пело, хорошее тело чего-то хотело, теперь постарело чудесное тело, и скоро уж тело отправят на мыло. Так, кокетничая с собой, совсем еще не старый, со средней позиции, Гангут встречал признаки старения.

И вдруг обнаружился новый, обескураживающий. Вдруг Гангут открыл в себе новую тягу. Карты на стол, джентльмены, он обнаружил, что теперь его постоянно тянет вернуться домой до девяти часов вечера. Вернуться до девяти, заварить чаю и включить программу «Время» – вот она, старость, вот он, близкий распад души.

Я, брошенный всеми в этой затхлой квартире, слегка заброшенный и совсем заброшенный господин Гангут наедине с телевизором, наедине с чудовищным аппаратом товарища Лапина. «Вахта ударного года». Сводка идиотической цифири. Четыре миллиона зерновых – это много или мало? Всесоюзная читательская конференция. Все аплодируют. Мрачные уравниношенные лица. Вручение ордена Волгоградской области. Старики в орденах. Внесение знамен. Бульдозеры. Опять «Вахта ударного года». Ширится борьба за права человека в странах капитала. Порабощенная волосатая молодежь избивает полицию. Израильская военщина издевается над арабской деревенщиной. Снова – к нам! Мирно играют арфистки, экая благодать, стабильность, ордена, мирные дети, тюльпаны... экая хуемотина... Гангут по старой диссидентской привычке вяло иронизировал, но на самом-то деле размагничивался в пропагандистском трансе, размягчался, как будто ему почесывали темя, и сам, конечно, сознавал, что размагничивается, но отдавался, распадался, ибо день за днем все больше жаждал этих ежевечерних размягчений. Прокатившись по кризисным перекатам западной действительности, поскользив по мягкой благодати советского искусства, программа «Время» приближалась к самому гангутовскому любимому, к спортивным событиям. Где-то он вычитал, что современный телезритель хотя и следит за спортивными событиями, размягчившись в кресле, тем не менее все-таки является как бы их участником, и в организме его без всяких усилий в эти моменты происходят спортивные оздоровляющие изменения. Вздор, конечно, но приятный вздор. «О спортивных событиях расскажет наш комментатор...» Их было семь или восемь, и Гангут относился к ним чуть ли не как к своей семье, нечто вроде «родственников» из романа Брэдли. Для каждого комментатора он придумал прозвище и не без удовольствия пытался угадать, кто сегодня появится на экране: «Педант» или «Комсомолочка», «Дворяночка» или «Агит-Слон», «Засоня», «Лягушка», «Синенький»... Оказалось, сегодня на экране редкая гостья – «Сексапилочка» Татьяна Лунина. Вот именно ее появление и потрясло Гангута, именно Лунина, с ее поблескивающими глазами на загорелом лице, в ее сногсшибательной по скромности и шику белой куртке, как бы сказала в тот вечер Гангуту прямо в лицо: ты, Виталька, расползающийся мешок дерьма, выключайся и катись на свалочку, спекся.

Они когда-то были знакомы. Когда-то даже что-то наклевывалось между ними. Когда-то пружинистыми шагами входил на корт... Там Таня подрезала подачи. Когда-то показывал в Доме кино отбитый в мучительных боях с бюрократией фильм... Там в первом ряду сидела Татьяна. Когда-то заваливался в веселую компанию или в ресторан, задавал шороху... Там иной раз встречалась Лунина. Они обменивались случайными взглядами, иной раз и пустяковыми репликами, но каждый такой взгляд и реплика как бы говорили: «Да-да, у нас с вами может получиться, да-да и почему же нет, конечно, не сейчас, неподходящий момент, но

почему бы не завтра, не послезавтра, не через год...» Потом однажды на подпольной выставке, вернее, подкрышно-чердачной выставке художника-авангардиста он встретил Лунину с Лучниковым, заморским своим другом, крымским богачом, каждый приезд которого в Москву поднимал самумы на чердаках и в подвалах: он привозил джазовые пластинки, альбомы, журналы, джинсы и обувь для наших нищих ребят, устраивал пьянки, колесил по Москве, таща за собой вечный шлейф девок, собутыльников и стукачей, потом улетал по какому-нибудь умопомрачительному маршруту, скажем в Буэнос-Айрес, и вдруг возвращался из какого-нибудь обыкновенного Стокгольма, но для москвича ведь и Стокгольм, и Буэнос-Айрес, в принципе, одно и то же, одна мечта. Тогда на том чердачном балу не нужно было быть психологом, чтобы с первого взгляда на Андрея и Татьяну понять – роман, романище, электрическое напряжение, оба под высоковольтным током счастья. А у Гангута как раз по приказу Комитета смыли фильм, на который потрачено было два года; как раз вызывали его на промывку мозгов в Союз, как раз не пустили на фестиваль в Кан, зарезали очередной сценарий, и жена его тогдашняя Дина устроила безобразную сцену из-за денег, которые якобы пропиваются в то время, как семья якобы голодает, шумела из-за частых отлучек, то есть «откровенного блядства под видом творческих восторгов». Словом, неподходящий был момент у Гангута для созерцания чужого счастья. Вместе с другими горемыками он предпочел насосаться гадкого вина, изрыгать анти-советчину и валяться по углам.

Впрочем, чудное было время. Хоть и душили нас эти падлы, а время было чудесное. Где теперь это время? Где теперь тот авангардист? Где две трети тогдашних гостей? Все отвалили за бугор. Израиль, Париж, Нью-Йорк... Телефонная книжка – почти ненужный хлам. «Ленинград, я еще не хочу умирать, у меня телефонов твоих номера...», а в Питере звонить уже почти некому. Как они проходят, эти проклятые, так называемые годы, какие гнусные мелкие изменения накапливаются в жизни в отсутствие крупных изменений. Кошмарен счет лет. Ужасно присутствие смерти. Дик и бессмертный быт.

Виталий Гангут рывком выскочил из продавленного кресла и вперился в цветное изображение Татьяны Луниной. У нее такой вид, какой был тогда. Неужели наши девки еще могут быть такими? Неужели мы еще живы? Неужели Остров Крым еще плавает в Черном море?

«Сборная юниоров на соревнованиях в Крыму победила местных атлетов по всем видам программы. Особенного успеха добились...» Что она говорит? Почему я не женился на ней? Она не дала бы мне опуститься, так постареть, так гнусно заколачивать деньги на научпопе. Она ведь не Линка, не Катька, не прочие мои идиотки, она – вот она... Где же Андрюшка? Сколько лет мы не виделись с этим рыжим? В прошлом году или в позапрошлом мы ехали вместе с юга на моей развалюхе и ругались всю дорогу. Как безумные мы только о политике тогда и бубнили: о диссидентах, о КГБ, о герантократии, о Чехословакии, о западных леваках, о национальной психологии русских, о вонючем мессианстве, об идиотской его теории Общей Судьбы... Именно тогда Лучников сказал Гангуту, что он, его друзья и газета «Курьер» борются за воссоединение Крыма с Россией, а тот взорвался и обозвал его мазохистом, мудаком, самоубийцей, пидаром гнойным, вырожденцем с расщепленной психологией и хуем моржовым.

– Вы, сволочи буржуазные, с жиру беситесь, невропаты проклятые, вы хотите опозорить наше поколение, убить до срока нашу надежду, как и ваши отцы, золотопогонная падаль, проорали в кабаках всю Россию и сбежали! – так орал Гангут, пока его «Волга», грохоча треснувшим колесом, катила к Москве.

– Да ведь твой-то отец, Виталий, был матросом на красном миноносце, он же дрался как раз за Крым, идиот ты паршивый! – так же орал в ответ Лучников. – Вы тут ослепли совсем из-за того, что вам не дают снимать ваши говенные фильмы! Ослепли от злобы, выкидыши истории! России нужна новая сперма!

Перед Москвой в какой-то паршивой столовке они вроде бы помирились, утихли, с усмешечками в прежнем ироническом стиле своей дружбы стали обращаться друг к другу «товарищ Лучников», «господин Гангут», договорились завтра же встретиться, чтобы пойти вместе к саксофонисту Диме Шебеко, хотя и знали оба, что больше не встретятся, что теперь их жизни начнут удаляться одна от другой, что каждый может уже причислить другого к списку своих потерь.

Чем было для поколения Гангута в Советском Союзе курьезное политико-историко-географическое понятие, именуемое Остров Крым? Надеждой ли на самом деле, как вскричал в запальчивости Гангут? С детства они знали о Крыме одну лишь исчерпывающую формулировку: «На этом клочке земли временно окопались белогвардейские последыши черного барона Врангеля. Наш народ никогда не прекратит борьбы против ошметков белых банд, за осуществление законных надежд и чаяний простых тружеников территории, за воссоединение исконной русской земли с великим Советским Союзом». Автор изречения был все тот же, основной автор страны, и ни одно слово, конечно, не подвергалось сомнению. В пятьдесят шестом, когда сам автор был подвергнут сомнению, в среде новой молодежи к черноморскому острову возник весьма кипучий интерес, но даже тогда, если бы одному из активнейших юношей Ленинграда Виталию Гангуту сказали, что через десять лет близким его другом станет «последыш последышей», он счел бы это вздором, дурацкой шуткой, а то и буржуазной провокацией. Его отец действительно дрался за Остров во время Гражданской войны и находился на миноносце «Красная заря», когда тот был накрыт залпом главного калибра с английского линкора. Вынырнув из-под воды, папаша занялся периодом реконструкции, потом опять утонул. Вынырнув все-таки из ГУЛАГа, папаша Гангут рассказывал о многом, иногда и о Крыме. Наш флот был тогда в плачевном состоянии, говорил он. Если бы хоть узенькая полоска суши соединяла Крым с материком, если бы Чонгар не был так глубоководен, мы бы прошли туда по собственным трупам. Энтузиазм в те времена, товарищи, был чрезвычайно высок.

В первые послесталинские годы Остров потерял уже свою мрачную, исключавшую всякие вопросы формулировку, но от этого не приблизился, а, как ни странно, даже отдалился от России. Возник образ подозрительного злчного места, международного притона, Эльдорадо авантюристов, шпионов. Там были американские военные базы, стриптизы, джаз, буги-вуги, словом, Крым еще дальше отошел от России, подтянулся в кильватер всяким там Гонконгам, Сингапурам, Гонолулу, стал как бы символом западного разврата, что отчасти соответствовало действительности. Однажды в пьяной компании какой-то морячок рассказывал историю о том, как у них на тралышке вышел из строя двигатель и они, пока чинились, всю ночь болтались в виду огней Ялты и даже видели в бинокль надпись русскими буквами «Дринк кока-кола». Буквы-то были русские, но Ялта от берегов русского смысла была даже дальше, чем Лондон, куда уже начали ездить, не говоря о Париже, откуда уже приезжал Ив Монтан. И вдруг Никита Сергеевич Хрущев, ничего особенного своему народу не объясняя, заключил с Островом соглашение о культурном обмене. Началось мирное сосу-сосу. Из Крыма приехал скучнейший фольклорный татарский ансамбль, зато туда отправился Московский цирк, который произвел там подобие землетрясения, засыпан был цветами, обсосан всеобщей любовью. В шестидесятые годы стали появляться первые русские визитеры с Острова, тогда-то и началось знакомство поколения Гангута со своими сверстниками, ибо именно они в основном и приезжали, старые врэвакуанты побаивались. В ранние шестидесятые молодые островитяне производили сногшибательное впечатление на москвичей и ленинградцев. Оказывается, можно быть русским и знать еще два-три европейских языка как свой родной, посетить десятки стран, учиться в Оксфорде и Сорбонне, носить в кармане американские, английские, швейцарские паспорта. У себя дома крымчане как-то умудрялись жить без паспортов. Они каким-то странным образом не считали свою страну страной, а вроде как бы временным лагерем. И все-таки были русскими, хотя многого не понимали. Они, например, не понимали кипучих тогдашних

споров об абстрактном искусстве или о джазе. Острейшие московские вопросы вызывали у них только улыбки, пожатие плечами, вялый ответ – вопросец *Why not?* – «почему нет?». Поколению, выросшему под знаком «почему да?», трудно объяснить им свою борьбу, проблемы, связанные с брюками, с прическами, с танцами, с манерой наложения красок на холсты, с «Современником», с театром на Таганке. Впрочем, находились и такие, кто все хотел понять, во все старался влезть, и первым из таких был Андрюша Лучников.

Гангут познакомился с Лучниковым, как ни странно, на Острове. Он был одним из первых «советикусов» на Ялтинском кинофестивале. В тот год случилась какая-то странная пауза в генеральном деле «закручивания гаек», и ему вдруг разрешили повезти свою вторую картину на внеконкурсный показ. Утром в гостиницу явился к нему рыжий малый в застиранном джинсовом пиджаке, хотя и с часами «Ролекс» на запястье, член совета адвайзеров газеты «Русский Курьер» Андрей А. Лучников, принес толстый, как подушка, воскресный выпуск, в котором о нем, Гангуте, было написано черным по белому: «Один из ведущих режиссеров „новой волны“ мирового синема Виталий Гангут говорит по этому поводу...» Так непринужденно, в одном ряду со всякими Антониони, Шабролями, Бергманами, Бунюэлями, «один из...». Гангут, конечно, от Острова обалдел, поддался на соблазны, полностью морально разоружился. Быть может, тогда у него впервые и явилась идея, что Остров Крым принадлежит всему их поколению, что это как бы воплощенная мечта, модель будущей России.

В те времена все говорилось, писалось, снималось и ставилось от имени поколения. Где они сейчас, наши шестидесятники? Сколько их ринулось в израильскую щель и рассеялось по миру? Вопросы не риторические, думал Гангут. В количестве и в географии расселения – тоже приметы катастрофы. Отъезд – это поступок, так говорят иные. Нельзя всю жизнь быть глиной в корявых лапах этого государства. Однако есть ведь и другие поступки. Самые смелые сидят в тюрьмах. Отъезд – это климакс, говорят другие, и, может быть, это вернее. Оставшиеся говорят «катастрофа» и покупают «жигули». Вдруг оказывается, что можно хорошие деньги делать в «Научпопе», плюнуть на честолубие и заниматься самоусовершенствованием, которое оборачивается ежедневным киселем в кресле перед программой «Время». Все реже звонил у Гангута телефон, все реже он выходил вечерами из дома, все меньше оставалось друзей... вот и Андрей Лучников в списке потерь, да и какой он русский, он не наш, он западный вывихнутый левак, и пошел бы он подальше... все меньше становилось друзей, все меньше баб, впрочем, и дружок в штанах все реже предъявлял требования.

Смутный этот фон, или, как сейчас говорят, бэкграунд, дымился за плечами Виталия Гангута, когда он стоял, согнувшись, вперившись потревоженным взглядом в лицо спорткомментаторши Таньки Луниной. Три или четыре минуты она полыхала на экране, а потом сменилась сводкой погоды. Гангут рванулся, схватил пиджак... Год назад он облегал фигуру, теперь не застегивался. Три дня не буду жрать, снова начну бегать... схватил пиджак, заглянул в бумажник... те, прежние, большие деньги, башли триумфа, никогда не залеживались, эти нынешние малые деньжата, те, что нагорбачивались унижением, всегда в бумажнике... прошагал по квартире, отражаясь в грязных окнах, в пыльных зеркалах, гася за собой свет, то есть исчезая, и наконец у дверей остановился на секунду, погасил свое последнее отражение и вздохнул: к едреной фене, завтра же с утра в ОБИР за формулярами, линять отсюда, линять, линять...

Ознобец восторга, то, что в уме он называл молодой отвагой, охватил Гангута на лестничной площадке. Как он все бросит, все отряхнет, как чисто вымоет руки, как затрещат в огне мосты, какие ветры наполнят паруса! Было бы, однако, не вполне честно сказать, что молодая отвага впервые посещала знаменитого в прошлом режиссера. Вот так же вечерами выбегал на улицу, нервно, восторженно гулял, в конце концов напивался где-нибудь по соседству, а утром после трех чашек кофе ехал на «Научпоп» и по дороге вяло мусолил отступные мысли о климаксе, о поколении, о связях с почвой, о том, что вот недавно его имя мелькнуло в какой-

то обзорной статье, значит разрешили упоминать, а потом, глядишь, и фильм дадут ставить, а ведь любой мало-мальски неконформистский фильм полезнее для общего дела, чем десяток «Континентов». Фальшивое приглашение в Израиль, возникшее в короткий период диссидентщины, тем не менее тщательно сохранялось как залог для будущих порывов молодой отваги.

Конечно, сегодняшний порыв был из ряда вон выходящим, в самом деле какой-то приступ молодости, будто вдруг открылись пороховые погреба, будто забил где-то в низах гормональный фонтанчик. Прежде всего он найдет Таню Лунину и узнает у нее об Андрее. Нужно немедленно искать коммуникацию с ним. В Крыму мощная киноиндустрия. В конце концов, не оставит же редактор «Курьера» своего старого кореша. В конце концов, он все-таки Виталий Гангут, «один из», в конце концов, еще совсем недавно в Доме кино сказал ему, когда икру-то жрали, тот красавчик голливудчик-молодчик: «I know, I know, you are very much director». В конце концов его отъезд вызовет «звук». Итак, прежде всего он найдет Таню Лунину и, если будет подходящий случай, переспит с ней.

Красный глазок лифта тупо взирает Гангуту под правую ключицу. Лестничная шахта четырнадцатэтажного кооперативного дома гудела что-то как бы авиационное. Откуда-то доносилась песня «Hey Jude». Двери лифта разъехались, и на площадку вышел сосед Гангута, глядящий исподлобья и в сторону мужчины средних лет с огромной собакой породы московская сторожевая. Он был соседом Гангута уже несколько лет, но Гангут не знал ни имени, ни звания и даже за глаза упоминал его, как по сценарной записи, «глядящий исподлобья и в сторону мужчины средних лет с огромной собакой породы московская сторожевая». Сосед никогда не здоровался с Гангутом, больше того – никогда не отвечал на приветствие. Однажды Гангут, разозлившись, задержал его за пуговицу. Отвечать надо. Что? – спросил сосед. Когда вам говорят «доброе утро», надо что-нибудь ответить. Да-да, сказал сосед и прошел мимо, глядя исподлобья и в сторону. Диалог произошел, разумеется, в отсутствие собаки породы московская сторожевая. Гангут полагал, что урок пойдет впрок, но этого не случилось. Сосед по-прежнему проходил мимо Гангута, будто не видел его или видел впервые.

– Ах, здравствуйте, – вдруг сказал сосед прямо в лицо.

Собака мощно виляла хвостом.

Гангут изумился:

– Здравствуй, если не шутите.

Народное клише весьма подходило к случаю.

Сосед плутовато засмеялся:

– Чудесный ответ, и в народном духе. Какой он все-таки у нас умница.

– Кто? – спросил Гангут.

– Наш народ. Лукав, смекалист.

Сосед слегка придержал Гангута рукой за грудь. Лифт ушел.

– Да зайдемте ко мне, – сказал сосед.

– Простите? – не понял Гангут.

– Да зайдемте же, в самом деле, ко мне. – Сосед хитровато смеялся. – Что же, в самом деле, живем, живем...

Он был слегка пьяноват.

– Никогда бы к вам не зашел, – сказал Гангут. – А вот сегодня зайду.

– Именно сегодня, – продолжал хихикать сосед. – Гости. Юбилей. Да заходите же.

Гангут был введен в пропитанную запахами тяжелой праздничной готовки квартиру. Оказалось, полстолетия художественному редактору Ершову, то есть «человеку, глядящему исподлобья и в сторону», нелюбезному соседу. Большое изобилие украшало стол, торчали ножки венгерских индеек, недоразрушенные мраморные плоскости студня отсвечивали богатую люстру. С первого же взгляда на гостей Гангут понял, что ему не следовало сюда приходить.

– А это наш сосед, русский режиссер Виталий Семенович Гангут, – крикнул юбиляр.

Началось уплотнение, после которого Гангут оказался на краю дивана между дамой в лоснящемся парике и хрупким ребенком-школьником, из тех, что среди бела дня звонят в дверь и ошарашивают творческую интеллигенцию вопросом: «Извините, пожалуйста, нет ли у вас бумажной макулатуры?»

– ...Русский режиссер... небесталанный, одаренный... мы бы, если бы... ну, помнишь эта штука историческая о нашей родине... русский режиссер... задвинули на зады... сами знаете кто...

С разных концов стола на Гангута смотрели кувшинные рыла.

– Это почему же такой упор на национальность? – спросил он свою соседку.

– А потому, что вас тут раньше жидом считали, Виталик, – с полной непринужденностью и некоторой сердечностью ответила дама, поправляя одновременно и грудь и паричок.

– Ошиблись, – крикнул мужской голос с другого конца стола.

Послышался общий смех, потом кто-то предложил за что-то выпить, все стали быстро выпивать-закусывать, разговор пошел вразнобой, о Гангута забыли, и лишь тогда, то есть с весьма значительным опозданием, он оттолкнул локтем тарелку, на которую уже навалили закуски – кусок студня, кусок индюшатины, кусок пирога, селедку, винегрет, – и обратился к соседке с громким вопросом:

– Что это значит?

Через стол тут же протянулась крепкая рука, дружески сжала ладонь Гангута. Мужественная усатая физиономия – как это раньше не замечена – улыбалась, по-свойски, по-товарищески, как раньше бы сказали – от лица поколения.

– Евдокия, как всегда, все упрощает. Пойдем, Виталий, на балкон, подымим.

Воздвиглась над столом большущая и довольно спортивная фигура в черном кожаном пиджачище, ни дать ни взять командарм революции. Гангут поднялся, уже хотя бы для того, чтобы выбраться из-за стола, избавиться от диванного угла и от соседки, копошащейся в своем кримплене.

– Олег Степанов, – представился на балконе могучий мужчина и вынул пачку «Мальборо». – Между прочим, отечественные. Видите, надпись сбоку по-русски. Выпускается в Москве.

– Первый раз вижу, – пробормотал Гангут. – Слышал много, а вот пробую впервые. – Затянулся. – Нормальный «Мальборо».

– Вполне. – Олег Степанов прогулялся по обширному балкону, остановился в метре от Гангута. – Будете смеяться, но мы о вас много говорили у Ерша как о еврее.

– Несколько вопросов, – сказал Гангут. – Почему вы говорили обо мне? Почему много? Почему как о еврее или о нееврее, о татарине, об итальянце, что это значит?

– Сейчас люди ищут друг друга. Идет исторический отбор, – просто и мягко пояснил Олег Степанов.

– Вы славянофилы?

– Да, конечно, – улыбнулся Олег Степанов. – Согласитесь, нужно помочь национальному гению, он задавлен. Естественно, ищешь русских людей в искусстве. Вот ваше творчество, эти три ваших картины, несмотря на все наносные модные штучки, казались лично мне все-таки русскими, в них было здоровое ядро. Конечно, звучание фамилии, отчество Семенович, а самое главное – ваше окружение вызывали недоверие, но исследование показало, что я был прав, и я этому рад, поверьте, Виталий, искренне.

– Исследование? – переспросил Гангут.

Олег Степанов серьезно кивнул:

– Мы выяснили ваши корни. Может быть, вы и сами не знаете, что Гангуты на Руси пошли с того самого дня русской славы, с той самой битвы у мыса Гангут. Был взят в плен шведский юнга. Потом уже идет только русская кровь. Что же, шведы, варяги – это приемлемо...

– Вы это серьезно? – спросил Гангут.

Они стояли на балконе десятого этажа в четырнадцатизэтажном доме. Внизу на перекрестке светился дорожный знак и мигал светофор. Далее за тоненькой полоской реки грохотился скальными глыбами и угасал перед лицом ночи, превращаясь в подобие пещерного города, новый микрорайон. Над ним бедственно угасало деревенское небо, закат прозябания, индустриальные топи Руси. Жуткая тоска вдруг налетела на Гангута. Вид тоски, когда нельзя отыскать причины, когда тебя уже нет, а есть лишь тоска. Он сделал даже резкое движение головой, как будто боролся с водоворотом. Вынырнул. Олег Степанов стоял, облокотившись на перила балкона и глядя в те же зеленоватые, ничего не обещающие хляби.

– Евреи – случайные гости на нашей земле, – проговорил он, не двигаясь.

«Надо уйти, – подумал Гангут. – Немедленно вон из этого вертепа». Он не ушел чуть ли не до утра, напротив, жрал из своей, похожей уже на помойку тарелки,пил все подряд и дурел и слушал Олега Степанова, который все уговаривал его завтра же позвонить какому-то Дмитрию Валентиновичу, который может ему помочь. Да кто он такой? Министр, секретарь ЦК, генерал? Он птаха невидная, да певучая. Позвони ему завтра и назовись, глядишь, и изменится твоя судьба.

На рассвете тот же Степанов перетащил Гангута через лестничную площадку в его квартиру, положил на тахту, вытер даже извержения.

Некоторое время он сидел рядом с бесчувственным телом, пытаясь перевернуть его с живота на спину или хотя бы пролезть рукой под живот. Все было тщетно – глыба русской плоти только сопела и ничего не чувствовала. Олег Степанов, отчаявшись, сел в кресло к письменному столу, полез в свои собственные штаны и взялся. Перед ним стояла фотография – двое голых парней и одна голая девушка на фоне морского прибоя. Глядя на эту фотографию и сдержанно рыча, теоретик начал и кончил. Потом аккуратно все вытер и удалился, оставив на письменном столе номер телефона.

IV. Любопытный эпизод

Марлен Михайлович Кузенков тоже видел в тот вечер на телеэкране комментатора Татьяну Лунину, но она не произвела на него столь оглушительного впечатления, сколь на впечатлительного артиста Виталия Гангута. Просто понравилась. Приятно видеть, в самом деле, на телеэкране хорошо отдохнувшую, мило одетую женщину. Марлен Михайлович полагал, что и всему народу это приятно, за исключением совсем уже замшелых «трезоров», принципиальных противников эпохи телевидения. Между тем симпатичные лица на экране не вредны, напротив, полезны. Сейчас можно иной раз на улице или в театре заметить лицо, не отягощенное социальными соображениями. На месте товарищей с телевидения Марлен Михайлович активно привлекал бы в свою сеть такие лица, и не только по соображениям агитационным, как некоторым верхоглядам может показаться, но и ради глубоких исторических сдвигов в стране. Такие лица могут незаметно, год за годом, десятилетие за десятилетием, изменять психологическую структуру населения.

Эта мысль о лицах промелькнула в голове Кузенкова, пока он смотрел на Таню, но не исчезла навсегда, а зацепилась где-то в спецхране его мозга для будущего использования. Таким свойством обладал Марлен Михайлович – у него ничего не пропадало.

Он, конечно, еще утром узнал, что Таня вернулась из Крыма. Больше того, он уже знал, конечно же, что она в Коктебеле встретилась с Андреем Лучниковым и провела с ним два дня, то есть двое суток в треугольнике Феодосия – Симферополь – Ялта. Материалы по этой встрече поступили на стол Марлена Михайловича, смеем вас уверить, раньше «телеги» в Первый отдел Госкомитета по спорту и физвоспитанию. Такая уж у Марлена Михайловича была работа – все знать, что касается Крыма. Не всегда ему и хотелось все знать, иногда он, секретно говоря, даже хотел чего-нибудь не знать, но материалы поступали, и он знал все. По характеру своей работы Марлену Михайловичу Кузенкову приходилось «курировать» понятие, именуемое официально зоной Восточного Средиземноморья, то есть Остров Крым.

«Итак, она здесь, а он еще в Симфи», – прикинул Кузенков, когда заглянул в комнату, где жена и дети расселись вокруг телевизора в ожидании какого-то очередного фестиваля песни «Гвоздика-79» или «80» или на будущее – «84».

Предстоящий маршрут Лучникова был ему приблизительно известен: Париж, Дакар, Нью-Йорк, кажется, Женева, потом опять Париж, однако зигзаги этой персоны нельзя было предвидеть, и никто не смог бы поручиться, что Андрей завтра не забросит все дела и не прикатит за Татьяной в Москву. Кажется, у него еще не истекла виза многократного использования. Завтра нужно будет все это уточнить.

«Да перестань же ты, Марлен, все время думать о делах, – одернул себя Кузенков. – Подумай обо всем об этом с другого угла. Ведь Лучников не только твой объект, но и друг. Ведь этот, как вы его называете между собой, ОК, то есть Остров О'кей, не только „политический анахронизм“, но и чудесное явление природы. Тебе ли уподобляться замшелым „трезорам“, которые по тогдашнему выражению „горели на работе“, а проку от которых было чуть, одна лишь кровь и пакость. Ты современный человек. Ты, взявший имя от двух величайших людей тысячелетия».

Сегодня днем на улицах Москвы с Марленом Михайловичем случился любопытный эпизод. Вообще-то, по своему рангу Марлен Михайлович мог бы и не посещать улиц Москвы. Коллеги его уровня, собственно говоря, улиц Москвы не посещали, а только с вяловатым любопытством взирали во время скоростных перемещений из дачных поселков на Старую площадь, как за окнами «персоналок» суетятся бесчисленные объекты их забот. Марлен Михайлович, однако, считал своим долгом поддерживать живую связь с населением. У него была собственная машина, черная «Волга», оборудованная всякими импортными штучками из сотой сек-

ции ГУМа, и он с удовольствием ее водил. Ему было слегка за пятьдесят, он посещал теннисный корт «Динамо», носил английские твидовые пиджаки и ботинки с дырочным узором. Эти его вкусы не полностью одобрялись в том верховном учреждении, где он служил, и он это знал. Конечно, слово «международник» выручало – имеешь дело с буржуазией, нужна дымовая завеса, – но Марлен Михайлович отлично знал, что ниже этажом по его адресу молчат, а на его собственном этаже кое-кто иногда с легкой улыбкой называет его «теннисистом» и острит по поводу имени Марксизм-Ленинизм – этот вкусовой экстремизм конца двадцатых вызывает сейчас понятное недоверие у аппарата, ибо пахнет левым уклоном в корнях, а выше этажом тоже молчат, но несколько иначе, чем внизу, пожалуй, там молчат со знаком «плюс-минус», в котором многообещающий крестик все-таки превалирует над уничтожающим тире. Вот это-то верхнее молчание и ободряло Кузенкова держать свою марку, хотя временами приходилось ему и показывать товарищам кое-какими внешними признаками, что он «свой» – ну, там, матюгаться в тесном кругу, ну, демонстрировать страсть к рыбалке, сдержанное почтение к генералиссимусу, то есть к нашей истории, интерес к «деревенской литературе», слегка деформировать в южную сторону звуки «г» и «в» и, конечно же, посещать... хм... гм... замнем для ясности, товарищи... ну, в общем, финскую баню. Тут следует заметить, что Марлен Михайлович ни на йоту не кривил душой, он был действительно своим в верховном учреждении, на все сто своим, а может быть, и больше чем на сто. Так, во всяком случае, предполагали психологи этажом выше, но им не дано было знать о некоторых «тайниках души» Марлена Михайловича, о которых он и сам хотел бы не знать, но откуда иногда выскакивали на поверхность, всегда неожиданно, тревожные пузыри, объясняемые им, заядлым материалистом-диалектиком, наличием присутствия малого тайничка в анкете. Об этом-то последнем Марлен Михайлович знал прекрасно, но молчал, ну хотя бы потому, что не спрашивали, и только лишь гадал: знают ли о нем те, кому все полагается знать. Так по необходимости, вихляясь и оговариваясь в короткой нашей презентации Марлена Михайловича Кузенкова, мы подходим наконец к упомянутому уже «любопытному эпизоду» на улицах Москвы.

Отыграв свою партию в теннис с генералом из штаба стратегической авиации, Марлен Михайлович Кузенков вышел на Пушкинскую улицу. Красавица его «Волга» была запаркована прямо под знаком «Остановка запрещена», но ведь любой мало-мальски грамотный милиционер, глянув на номер, тут же поймет, что эта машина неприкосновенна. Тем не менее как только он подошел к своей красавице – нравилась она ему почему-то больше всех «мерседесов», «поршей» и даже крымских «руссо-балтов», – как тут же с противоположной стороны к нему стал приближаться милиционер. Кузенков с улыбкой его ждал, уже представляя себе, как отвалится у нерасторопного служаки челюсть при виде его документов.

– Я извиняюсь, – сказал пацан лет двадцати с сержантскими погонами. – У вас литра три бензина не найдется? Мне только до отделения доехать.

– Пожалуйста, пожалуйста, – улыбнулся Марлен Михайлович. – Бак полный. Только уж вы сами берите, сержант, у меня и шланга-то нету.

Этот пустяковый вроде бы контакт с населением Москвы, точнее, с ярким его представителем в милицейской форме, доставил Марлену Михайловичу значительное удовольствие. Он представил себе, как вытянулись бы лица соседей по этажу, если бы они узнали в обыкновенном водителе, предоставлявшем свой бак какому-то сержантику, человека их «уровня». Эх, аппаратчики, аппаратчики, вот, может быть, главная наша беда – потеря связи с улицей. На это уже и Владимир Ильич нам указывал.

Сержант принес бачок и шланг с грушей специально для отсоса. Он копошился возле «Волги», но дело шло туго: то ли шланг был с дыркой, то ли сержант что-то делал не так, только бензин вытекал каплями, а временами и вовсе переставал появляться на поверхности.

– Ничего-ничего, – ободрил юного центуриона Марлен Михайлович. – Не спеши. Попробуй ртом.

Между тем мимо текла по тротуару толпа, и Кузенков, чтобы не терять времени, стал ее наблюдать. В поле его зрения попала странная парочка: шли две эпохи, одна из эпох вцепилась в другую. Бледный неопрятный старик в обвисшем пиджаке с орденскими планками волокся за длинноволосым джинсовым парнем. Правой рукой старик тащил авоську с убогими продуктами, левой с силой оттягивал назад джинсовый рукав.

– Сорок лет! – орал старик кривым ртом. – Сорок лет сражаюсь за социализм! За наши идеалы! Не позволю! Айда, пошли, пройдем!

– Отвали, отец, – пониженным голосом говорил длинноволосый. – Не базарь. Оставь меня в покое.

Он явно не хотел привлекать внимания прохожих и силой освобождать свой рукав. Он, видимо, чувствовал, что старик будет виснуть на нем и орать еще сильнее, если он применит сейчас молодую превосходящую силу, и вся ситуация тогда быстро покатится к катастрофе. С другой стороны, он, кажется, понимал, что и увещеваниями старика не проймешь и дело все равно принимает катастрофический уклон.

Короче говоря, этот типичный молодой москвич был растерян под напором типичного московского старика.

– Не оставляю в покое! – орал старик. – Никогда в покое врага не оставлял. Сейчас тебя научат, как агитировать! Пошли в опорный пункт! Давай пошли куда следует!

Задержать внимание московской толпы довольно сложно. Хмурые люди проходили мимо, как будто вовсе не замечая ни унижительной позиции молодого человека, ни рычащей атаки старика. Однако выкрики старого бойца становились все более интригующими, кое-кто оборачивался, даже задерживал шаги.

Кузенков тогда, не отдавая себе отчета и подчиняясь, видимо, какому-то сигналу из какого-то своего тайника, взошел на мостовую и остановил движение странной парочки.

– Что здесь происходит? – протокольным голосом обратился он к старику. – Вы почему мешаете гражданину прогуливаться?

Фраза получилась в зощенковских традициях, и он слегка улыбнулся. Старик опешил, запнулся на полуслове, увидев тяжелую машину, присевшего рядом с ней сержанта милиции, а главное, увидев прохладную усмешку в глазах непростого товарища. Уловив эти приметы любимой власти, старик потерял на миг координацию и отпустил рукав подозрительного.

– Да вот, видите, ходит по гастроному и шипит, – вконец совладал с собой старик.

– Сами вы шипите, сами шипите, – бездарно оборонялась джинсовая эпоха.

– Почему же вы к нему пристааете? – строго, но патронально спросил Марлен Михайлович старика.

– Да вот шипит же, портфель носит, а шипит... мы в лаптях ходили... а он портфель носит... ходит с портфелем по гастроному и шипит... – бормотал старик.

– Не нужно приставать к гражданам, – тем же тоном сказал Марлен Михайлович.

– Товарищ, вы не оценили ситуацию! – отчаянно вскричал старик. – Ведь он же там высказывался, что в магазинах нет ничего!

Он весь трепетал, старый дурак в обвисшем пиджаке, под которым была заляпанная чем-то клетчатая рубашка навыпуск, в сандалиях на босу ногу. От него слегка пахло вином, но больше ацетоном и гнилью разваливающегося организма. Землистое с синевой лицо дрожало: придешь тут в отчаяние, если свои тебя не понимают.

– Так и говорил, враг, что в магазинах нет ничего. – Он повернулся, чтобы снова ухватить за рукав длинноволосого, в джинсах и с портфельчиком, врага, но того, оказывается, уже и след простыл. Марлен Михайлович, между прочим, тоже не заметил, как испарился смельчак-критикан.

– А что, разве в магазинах ВСЕ есть? – полюбопытствовал Марлен Михайлович.

– Все, что надо, есть! – вопил уже старик, оглядываясь, ища врага и как бы порываясь к преследованию, и опадал, видя, что уже не достигнешь, и поднимая к физиономии Кузенкова свою авоську, глядя уже на помешавшего справедливому делу человека с бурно нарастающим подозрением.

– Все, что надо простому народу, есть в магазинах. Вот вам макарончики, вона крупа, масла триста грамм, макарончики... Булки белые лежат! – взвизгнул он. – Это те, которые зажрались, те шипят! Мы работаем на них, жизнь кладем, а он всем недоволен!

– А вы всем довольны? – холодно осведомился Кузенков. Он сам себя своим тоном как бы убеждал, что в нем говорит социологический интерес, на самом-то деле и в нем что-то уже стало подрагивать: омерзение к агрессивной протоплазме стукача-добровольца.

– Я всем доволен! – Теперь уже дрожащие пальцы тянулись к кузенковскому твиду. – Я сорок лет сражался за правое дело! В лаптях... в лаптях... а они с портфелями...

– Идите своей дорогой, – сказал Марлен Михайлович. Он отвернулся от старика и возвратился к своей машине.

Сержант продолжал возиться со шлангом. Он, кажется, и головы не поднял, хотя не мог, конечно, не слышать скандального старика.

– Ну как? – деловым автомобильным голосом спросил Кузенков. – Тянет?

Сержант, видимо, тоже чувствовал некоторый идиотизм ситуации. Он брал шланг в рот, подсасывая бензин, отплевывался, наклонял шланг к бачку, но оттуда снова только лишь капало, не появлялась желанная струйка. Кузенков облокотился на багажник, стараясь отвлечься от исторической конфронтации к простому автомобильному делу. Тут он почувствовал, как ему в бок упирается мягкий живот старика.

– А вы не разобрались, товарищ, – теперь уже тихо заговорил старик, заглядывая в лицо Марлену Михайловичу. – Вы, вообще-то, кто будете?

В уголках рта у него запекшаяся слюнца, в углах глаз гноец. Прищур и трезвая теперь интонация показали Марлену Михайловичу, что перед ним, должно быть, не простой московский дурак, а кто-то из сталинских соколов, человечек из внутренней службы, по крайней мере, бывший вохра.

– Послушайте, – сказал он с брезгливой жалостью. – Что вы угомониться-то не можете? Вы всем довольны, а тот парень не всем. Люди-то разные бывают, как считаете?

– Так. Так. – Старик внимательно слушал Кузенкова и внимательнейшим образом его оглядывал. – Люди, конечно, разные, разные... А вы, товарищ, кто будете? Сержант, этот товарищ откуда?

Нахлебавшийся уже изрядно бензину милицейский, не поднимая головы, рывкнул на старика:

– Выпили? Проходите!

Старик чуть вздрогнул от этого рыка и, как видно, слегка засомневался, ибо власть, как всегда, была права – выпил он, а раз выпил, положено проходить. Тем не менее он не прошел, а продолжал смотреть на Кузенкова. Конечно, английское происхождение кузенковских одежд было старику неведомо, но взгляд его явно говорил о направлении мысли: кто же этот человек, отнявший у меня врага? свой ли? ой, что-то в нем не свое, дорогие товарищи! А уж не враг ли? А уж не группа ли тут?

Марлену Михайловичу взгляд этот был предельно ясен, и в тайниках его происходил процесс ярости, как вдруг откуда-то из самых уж отдаленных глубин какой-то самый тайный уже тайник выплеснул фонтанчик страха.

Руки старика потянулись к его груди, слюнявые губы зашевелились в едва ли не бредовом лепете:

– Конечно, выпил... значит, ваше преимущество... а я сорок лет сражался... в лаптях... с портфелями... продовольственные трудности... полмира кормим... братским классам и нациям... документик покажите... вы кто такой... меня тут знают, а вы... сержант, а ну...

Марлен Михайлович разозлился на себя за этот страх. Да неужели даже и сейчас, даже и на такой должности не выдавить из себя раба? Как легко можно было бы весь этот бред оборвать – отшвырнуть сталинскую вонючку (так и подумал – «сталинскую вонючку»), сесть в мощный автомобиль и уехать, но этот сержант дурацкий, со своим дурацким шлангом; конечно же, чего мне-то бояться, ну потеряю полчаса на объяснение в соседнем отделении милиции, звонок Щелокову – и все в обмороке, но в то же время, конечно же, совсем ненужный получится дурацкий, нелепый скандал, и не исключено, что дойдет до верхнего этажа, к этим маразматикам сейчас прислушиваются, кое-кто даже считает их опорой общества (печальна судьба общества с такой опорой), ну, словом... Как же от него избавиться, еще секунда – и он вцепится в пиджак, забьется в припадке, и тогда уж вся улица сбежится, припадочных у нас любят...

Тут налетела на старика расхристанная бабенка лет сорока, титьки вываливаются из черной драной маечки с заграничной надписью GRAND PRIX.

– Дядя Коля, айдайте отседа! Дядя Коля, ты что? Пошли, пошли! Смотри, сейчас бабка прибежит! Тебя уж час по дворам ищут!

Старик вырывался и хрипел, махал авоськой на Кузенкова. Из ячеек сыпались и ломались длинные макароны.

– Этот! – кричал старик. – Документы показывать не хочет! Сержант служебных обязанностей не выполняет! На помощь, товарищи!

– Дядя Коля, пошли отседа! Номер запомни, бумагу напишешь!

Бабешка запихивала в майку вылезающие груди, подхватывала слетающие с ног шлепанцы – видимо, выскочила из дома в чем была, – но умудрялась притом подмигивать Марлену Михайловичу да еще как-то причмокивать косым хмельным ртом.

Упоминание о бумаге, которую он напишет, подействовало: старик дал себя увести, правда все время оборачивался и высказывался, все более угрожающе и все менее разборчиво по мере удаления.

– Ну что у вас тут, сержант? – Марлен Михайлович раздраженно заглянул в бачок, там еле-еле что-то полоскалось на доньшке. Приятный и познавательный контакт с уличной жизнью обернулся тягостным идиотизмом. Кузенкова больше всего злило промелькнувшее, казалось бы забытое уже, чувство страха. Да неужели же до сих пор оно живет во мне? Пакость!

Он вырвал из рук сержанта шланг, осмотрел его: так и есть – дыра. Чертыхнулся, полез в собственный багажник, вытащил оттуда какую-то трубку, засунул один конец в бак, другой в рот, потянул в себя и захлебнулся в бензине, зато возникла устойчивая струйка, и очень быстро сержант приобрел для своего кургузого «москвичонка» нужное количество.

– Плата за невмешательство. Отмена нефтяного эмбарго, – усмехнулся Марлен Михайлович.

Сержант поглядывал на него как-то странно, может быть, тоже не понимал, что перед ним за птица. Во всяком случае, в благодарностях не рассыпался.

Кузенков сел уже за руль, когда в зеркале заднего вида снова увидел дядю Колю. Тот торопился на поле идейной битвы, тяжелый его пиджачище запарусил, рубашка расстегнулась, виден был тестообразный живот. Авоську старик, видимо, оставил дома, но вместо нее у него в руке была какая-то красная книжечка размером в партбилет, которую он то и дело поднимал над головой, будто сигналил. Марлену Михайловичу оставалось сделать несколько движений для того, чтобы отчалить и прекратить бессмысленную историю: нужно было отжать сцепление, поставить кулису на нейтраль, включить первую скорость и левую мигалку. Если бы он сделал все чуть быстрее, чем обычно, то как раз бы и успел, но ему показалось, что всякое

ускорение будет напоминать бегство, и потому он даже замедлил свои движения, что позволило дяде Коле добежать, влезть всей харей в окно и протянуть книжицу.

– Вот мой документ! Читайте! И свой предъявляйте! Немедленно!

– Стукач, – сказал вдруг Марлен Михайлович и сильной своей ладонью вывел мокрое лицо старика за пределы машины. – Не смей больше трогать людей, грязный стукач.

С этими словами он поехал. Старик вдогонку залаял матом. В боковом зеркальце мелькнуло хмурое лицо сержанта. Машина мощно вынесла Марлена Михайловича на середину улицы, но тут загорелся впереди красный свет. Стоя у светофора, Кузенков еще видел в зеркале в полусотне метров сзади и старика, и сержанта. Дядя Коля размахивал красной книжкой, тыкал рукой вслед ушедшей машине, апеллировал к милиции. Сержант с бачком в одной руке другой взял старика за плечо, тряхнул и показал подбородком на свою машину – ну-ка, мол, садись. Тут старик упал на мостовую. Последнее, что видел Кузенков, – дергающиеся ноги в голубых тренировочных шароварах. Зажегся зеленый.

Приехав домой, Марлен Михайлович немедленно отправился в ванную мыть руки. На левой ладони, казалось ему, еще осталась липкая влага старика. Подумав, стал раздеваться: необходим душ. Раздеваясь, он рассматривал себя в зеркало. Седоватый, загорелый, полный сил мужчина. «Не пристало так отпускать тормоза, Марлен, – сказал он себе. – Не дело, не дело. Вели себя не в соответствии со своим положением, да что там положение, не в соответствии со своим долгом, с ответственностью перед, нечего пугаться слов, перед историей. Вели себя, – вдруг пронзила его тревожная мысль, – вели себя как диссидент. Вели себя как диссидент и чувствовали как диссидент, нет, это совершенно непозволительно».

Он поставил тут себя на место старого болвана-вохровца, вообразил, как вдруг рушится перед ним выстроенный скудным умом логический мир; сержант, черная «Волга», прищуренный глаз, как символы мощи и власти, которую он стерег, как пес, всю свою жизнь, вдруг оборачиваются против него, какая катастрофа. Нет, нет, отшвыривание, низвержение этих стариков, а имя им легион, было бы трагической ошибкой для государства, зачеркиванием целого периода истории. Негосударственно, неисторично.

Он думал весь остаток дня об этом «любопытном эпизоде» (именно так он решил обозначить его своей жене, когда придет время пошутиться, – «любопытный эпизод»). Думал об этом и за письменным столом во время чтения крымских газет. Нужно было подготовить небольшой обзор текущих событий на Острове для одного из членов Политбюро. Такие обзоры были коньком Марлена Михайловича, он относился к ним с большой ответственностью и увлечением, но сейчас проклятый «любопытный эпизод» мешал сосредоточиться, он мечтал, чтобы вечер скорее прошел, чтобы они наконец остались вдвоем с женой, чтобы можно было поделиться с ней своими ощущениями.

Лицо Тани Луниной, появившееся на экране телевизора, отвлекло его, пришли в голову мысли об Андрее Лучникове, о всем комплексе проблем, связанных с ним, но тут по ассоциативному ряду Марлен Михайлович добрался до режиссера Виталия Гангута, московского друга курируемой персоны, и подумал, что вот Гангут-то был бы нормален в дурацкой склоке на Пушкинской улице. Он подставлял на свое место Гангута, и получалось нормально, естественно. Он возвращал себя на свое место, и получалось все неестественно, то есть, по определению Николая Гавриловича, безобразно.

Как всегда на ночь глядя и как всегда ни с того ни с сего позвонил старший сын от первого брака Дмитрий. Этот двадцатипятилетний парень был, что называется, «отрезанный ломоть», солист полуподпольной джаз-рок-группы C₂H₅ОН. Дмитрий носил фамилию матери и требовал, чтобы его называли всегда концертным именем – Дим Шебеко. Он считал политику дристей, но, конечно же, был полнейшим диссидентом, если подразумевать под этим словом инакомыслие. Марлену Михайловичу иногда казалось, что Дим Шебеко стыдится родства с таким шишкой, как он, и утаивает это от своих «френдов». Впрочем, и у Марлена Михайловича было

мало оснований гордиться таким сыночком перед товарищами по «этажу». Их отношения всю жизнь были изломанными, окрашенными не утихающей с годами яростью брошенной жены, то есть матери Дима Шебеко. В последнее время, правда, музыкант весьма как-то огрубел, отделил себя от обожаемой мамы, шлялся по столице с великолепной наплевательской улыбкой на наглой красивой физиономии, а с отцом установил естественные, то есть потребительские, отношения: то денег попросит, то бутылку хорошей «негородской» водки из пайка. В этот раз он интересовался, когда приедет крымский кореш Андрей, ибо тот обещал ему в следующий приезд привезти последние пластинки Джона Кламмера и Китса Джеррета, а также группу «Секс пистолс», которая, по мнению Дима Шебеко, мало перспективна, как и вся культура «панк», но тем не менее нуждается в изучении.

Поговорив с сыном, Марлен Михайлович снова вернулся к «любопытному эпизоду», подумал о том, что на месте того длинноволосого мог бы свободно оказаться и Дим Шебеко. Впрочем, у Дима Шебеко такая рожа, что даже бдительный дядя Коля побоялся бы подступиться. «Давить таких надо, дад, – сказал бы Дим Шебеко. – Я на твоём месте задавил бы старую жабу».

В конце концов Марлен Михайлович отодвинулся от пишущей машинки и стал тупо ждать, когда закончится проклятая «Гвоздика». Телевизионные страсти отпыхали только в начале двенадцатого. Он слышал, как Вера Павловна провожала в спальню детей, и ждал желанного мига встречи с женой. У них уже приближался серебряный юбилей, но чувства отнюдь не остыли. Напротив, едва ли не каждый вечер, несмотря на усталость, Марлен Михайлович сладостно предвкушал встречу с мягким нежнейшим телом вечно благоухающей Веры Павловны.

– Что это, лапик, Дим Шебеко звонил? – спросила жена, отдышавшись после встречи.

Голова Марлена Михайловича лежала на верном ее плече. Вот мир и милый и мирный, понятный в каждом квадратном сантиметре кожи, – мир его жены, пригожие холмы и долины. Так бы и жил в нем, так бы и не выходил никогда в смутные пространства внешней политики.

– Знаешь, моя кисонька, сегодня со мной в городе случился любопытный эпизод, – еле слышно прошептал он, и она, поняв, что речь идет о важном, не повторила своего вопроса о звонке, а приготовилась слушать.

– Что ж, Марлен, – сказала она, когда рассказ, вернее, весьма обстоятельный разбор кузенковских ощущений, цепляющихся за внешнюю пустяковость событий, был закончен. – Вот что я думаю, Марлен. А... – Она загнула мизинец левой руки, и ему, как всегда, показалось, что это не мизинец левой руки, но вот именно весьма серьезный А, за которым последуют Б, В, Г... родные, конкретные и умные. – А – тебе не нужно было влезать в эту потасовку, то есть не следовало обращать на нее внимания. Б – раз уж ты обратил на это внимание, то тебе следовало вступить, и ты правильно сделал, что вступился. В – вступившись, лапик, ты вел себя идеально как человек с высоким нравственным потенциалом, и вопрос только в том, правильно ли ты закончил этот любопытный эпизод, то есть нужно ли было называть старика грязным стукачом. И наконец, Г – темный страх, который ты испытал под взглядом дяди Коли, вот что мне представляется самым существенным, ведь мы-то знаем с тобой, Марлуша, какой прозрачный этот страх и где его корни. Если хочешь, мне вся эта история представляется как бурный подсознательный твой протест против живущего в тебе и во мне, да и во всем нашем поколении страха. Ну а если это так, тогда все объяснимо и естествен-но, ты меня понимаешь? Что касается возможного доноса со стороны припадочного старика, то это...

Вера Павловна отмахнула пятый пункт своих размышлений всей кистью руки, легко и небрежно, как бы не желая для такой чепухи и пальчики загигать. «Какая глубина, какая точность, – думал Марлен Михайлович, с благодарностью поглаживая женино плечо, – как она меня понимает! Какая стройная логика, какой нравственный потенциал!»

Вера Павловна была лектором университета, заместителем секретаря факультетского партбюро, членом правления Общества культурных связей СССР – Восточное Средиземноморье, и действительно ей нельзя было отказать в только что перечисленных ее мужем качествах.

Облегченно и тихо они обнялись и заснули как единое целое, представляя собой не столь уж частое нынче под луной зрелище супружеского согласия. Рано утром их разбудил звонок из Парижа. Это был Андрей Лучников.

– У меня кончилась виза, Марлен. Не можешь ли позвонить в посольство? Необходимо быть в Москве.

V. Проклятые иностранцы

«Каменный век, – подумал Лучников, – столицу космической России нужно заказывать заранее через операторов. Так мы звонили в Европу в пятидесятые годы. А из Москвы позвонить, скажем, в Рязанскую область еще труднее, чем в Париж. Так мы вообще никогда не звонили...»

Лучников подошел к окну. За окнами гостиницы на бульваре Распай стоял редкий час тишины. На тротуарах меж деревьев боком к боку, так что и не просунешься, стояли автомобили. По оставшейся асфальтовой тропинке ходил печальный марокканец с метлой. Небо розовело. Через час начнется движение. Лучников закрыл противозумные ставни, прыгнул в постель и тут же заснул. Он проснулся через три часа, ровно в семь. Впереди был напряженный день, но в запасе оставалось три часа, когда не надо было спешить. Приезжаешь в Париж и никуда не торопишься. Это наслаждение.

Ленивая йога. Душ. Бритье. Завтракать пойду на Монпарнас, в «Дом», там все осталось как прежде, те же посетители, как всегда: старик с «Фигаро», старик с «Таймс», старик с «Месседжеро», все трое курят сигары, одинокая, очень пожилая дама, чистенькая, как фарфор, затем – кто еще? – ах да, блондин с брюнеткой, или брюнет с блондинкой, или блондин с блондином, брюнет с брюнетом – у этих цветковые комбинации реже, чем у разнополых пар, безусловно, сидит там и молодая американская семья, причем мама на стуле бочком, потому что младенец приторочен к спине. Все эти лица и группы лиц расположились на большой веранде «Дома» с полным уважением к человеческой личности и занимаемому ею пространству, храня, стало быть, и за завтраком первейшую заповедь европейского Ренессанса. Два внушительных нестареющих и немолодеющих «домских» официанта в длинных белых фартуках разносят кофе, сливки и круассаны. Рядом с верандой продавец фрюи де мер раскладывает на прилавке свои устрицы. Изредка, то есть почти ежедневно, на веранде появляется какой-нибудь приезжий из какого-нибудь отеля поблизости, какой-нибудь молодой джентльмен средних лет, делающий вид, что он никуда не спешит. В руках у него всегда газеты. Вот в этом и состояла прелесть парижских завтраков – все как обычно в Париже.

В киоске на углу Монпарнаса и Распая Лучников купил «Геральд трибюн» и двуязычное издание своего «Курьера». Сделав первый глоток кофе, он на секунду вообразил напротив за столиком Татьяну Лунину. Улыбнувшись воображению и этим как бы отдав долг своей так называемой «личной жизни», он взялся за газеты. Сначала «Курьер». Сводка погоды в подножии первой полосы, Симфи +25 °С, Париж и Лондон – +29 °С, Нью-Йорк – +33 °С, Москва +9 °С... Опять Москва – полюс холода из всех столиц. Экое свинство, даже климат становится все хуже. Несколько лет подряд антициклоны обходят стороной Россию, где и так всего не хватает, ни радостей, ни продуктов, и стойко висят над зажавшейся Европой, обеспечивая ей дополнительный комфорт. Главная шапка «Курьера» – запуск на орбиту советского космического корабля, один из двух космонавтов – поляк, или, как они говорят, гражданин Польской Народной Республики. Большие скуластые лица в шлемофонах, щеки раздвинуты дежурными улыбками. На этой же полосе внизу среди прочего очередное заявление академика Сахарова и маленький портрет. Ну разве это не справедливо, господа? В советском корабле впервые поляк на орбите, а господин Сахаров при всем нашем к нему уважении делает отнюдь не первый стейтмент. В «Геральде» все наоборот: большой портрет Сахарова и заявление наверху, сообщение о запуске на дне, лики космонавтов, как две стертых копейки. Так или иначе, деморализованная и разложившаяся Россия опять дает заголовки мировым газетам. Кто же настоящие герои современной России, кто храбрее – космонавты или диссиденты? Вопрос детский, но дающий повод к основательным размышлениям.

На солнечной стороне Монпарнаса Лучников заметил сухопарую фигуру полковника Чернока. Смешно, но он был одет в почти такой же, оливкового цвета костюм, как и у Лучникова. Почти такая же голубая рубашка. Смешно, но он остановился на углу и купил «Курьер» и «Геральд». Правда, подцепил еще пальцем июльский выпуск «Плейбоя». Зашел в «Ротонду» и попросил завтрак, не забыв, однако, и о рюмочке «Мартеля». Кажется, он тоже заметил друга через улицу, сидящего, словно в витрине, на террасе «Дома». Заметил, но, так же как и Лучников, не подал виду. Через час у них было назначено свидание в двух шагах отсюда, в «Селекте», но этот час был в распоряжении Чернока, и он мог чуть-чуть похитрить сам с собой, развалившись на солнышке, листать газеты, прихлебывать кофе, как будто ему, как и Лучникову, вроде бы предстоит праздный день.

Итак, поехали дальше. Политические новости Крыма. Фракция яки-националистов во Временной Государственной Думе вновь яростно атаковала врэвакуантов и потребовала немедленного выделения Острова в отдельное государство со всеми надлежащими институтами. Решительный отпор СВРП, коммунистов, с-д, к-д, трудовиков, друзей ислама. У всех свои соображения, но парадокс в том, что вся эта гиньольная компания с их бредовыми или худосочными идейками ближе сейчас нам, чем симпатичные ребята из «я-н». Увы, напористые, полные жизни представители новой островной нации, о возникновении которой они кричат на всех углах, сейчас опаснее любых монархистов и старорусских либералов для Идеи Общей Судьбы. Не говоря уже о коммисах по всему их спектру, о них и говорить нет смысла. Московские коммисы повторяют за Москвой, пекинские за Пекином, еврокоммисы сидят в университетских кабинетах, пока их ученики-герильеры шуруют по принципу еще 1905 года: «Хлеб съедем, а булочные сожжем!» Эта идея неизлечима, дряхла, тлетворна. Быть может, главным и единственным ее достижением будет тот здоровый росток, который возникает сейчас в самой Москве, то начало, к которому и тянется ИОС. Андрей Арсеньевич Лучников довольно часто за утренним кофе казался сам себе здоровым, умным, деятельным и непредубежденным аналитиком не только нации, но и вообще человеческого рода.

Последний глоток кофе. Рука уже тянется к карману за вчерашними «мессажами». По осевой полосе Монпарнаса к бульвару Сен-Мишель несется, яростно сигналив, наряд полицейских машин. Девять часов сорок минут. Начинается новый сумасшедший парижский день редактора одной из самых противоречивых газет нашего времени, симферопольского «Русского Курьера».

Записки в основном подтверждали назначенные уже ранее апойтменты, хотя одно послание было совершенно неожиданным. Вчера в обеденный час в отель позвонил мистер Джей Пи Хэлоуэй, компания «Парамаунт», и попросил мосье Лютшниккофф связаться с ним по такому-то телефону. Позднее, то есть в послеобеденное время, мистер Хэлоуэй, то есть старый подонок, друг юности Октопус, лично заехал в гостиницу, то есть уже вдребадан, и оставил записку: «Андрей Лучников, вам лучше сложить оружие. Капитуляция завтра в час дня, брасери „Липп“, Сен-Жермен-де-Пре. Октопус». Ничего не поделаешь, придется обедать с американскими киношниками, не выбросишь ведь старого Октопуса на помойку, столько лет не виделись – три, пять? Итак, давайте распределимся. Через пятнадцать минут свидание с Черноком. В одиннадцать часов ЮНЕСКО, Петя Сабашников. К часу едем вместе на Сен-Жермен-де-Пре. После обеда надо позвонить в советское посольство, узнать о продлении «визы многократного использования». В пять часов вечера с Сабашниковым – к фон Витте. В шесть тридцать интервью в студии Эй-би-си. Затем прием ПЕН-клуба в честь диссидента Х. Допустимое опоздание полчаса. Укладываюсь. Вечер, надеюсь, будет свободен. Проведу его в одиночестве. Неужели это возможно? Пойду в кино на Бертолуччи. Или в тот джазовый кабачок в Картье Латэн. На ночь почитаю Платона. Не выпью ни капли. Впрочем, не пойду ни в кино, ни в кабачок, а сразу лягу с Платоном... то место о тирании и свободе, прочту его заново...

Андрей Лучников положил на стол деньги, забрал свои газеты и вышел из кафе. То же самое проделал на другой стороне улицы полковник Чернок, командующий Северным укрепрайоном Острова Крым. Они двинулись в сторону «Селекта», почти зеркально отражая друг друга.

Они были действительно похожи, одногодки из одной замкнутой элиты врэвакуантов, один пошире в кости, другой постройнее, один военный летчик, другой писака и политик.

– Ты мешал мне читать газеты в своей «Ротонде», – сказал Лучников.

– А ты мне не давал пить кофе в своем «Доме», – сказал Чернок.

– «Дом» лучше, – сказал Лучников.

– А у меня костюм лучше, – сказал Чернок.

– Убил, – сказал Лучников.

– Не лезь, – сказал Чернок.

За диалогом этим, естественно, стояла Третья симферопольская мужская гимназия имени императора Александра Второго Освободителя. Им принесли пива.

– Читал последние новости из Симфи? – спросил Лучников.

– Яки?

– Да. По последнему «поллу» их популярность поднялась на три пункта. Сейчас она еще выше. Идея новой нации заразительна, как открытие Нового Света. Мой Антошка за один день на Острове стал яки-националистом. Зимой – выборы в Думу. Если мы сейчас не начнем предвыборную борьбу, России нам не видать никогда.

– Согласен. – Полковник был немногословен.

Они стали обсуждать план быстрого создания массовой партии. Сторонников Общей Судьбы на Острове множество во всех слоях населения. К исторически близкому воссоединению с великой родиной призывают десятки газет во главе с могущественным «Курьером». Нет сомнения, что когда возникнет СОС – вот такая предлагается аббревиатура, Союз Общей Судьбы, звучит магнитно, ей-ей, в этом слове уже залог успеха, – итак, когда возникнет СОС, другие партии поредеют. Нужно как можно скорее объявлять новую партию, и делать это с открытым забралом. Да какая уж там секретность! Если даже муллы за автономию в границах СССР, секретность – вздор. Военным разрешено будет примыкать к СОС? Прости, но в этом случае мы не можем считать СОС политической партией. Что ж, можно и не считать его политической партией, но в выборах участвовать. Прости, нет ли в этом демагогии? Пожалуй, в этом есть демагогия именно в советском духе или в стиле наших мастодонтов: мы за разрядку, но при нарастании идейной борьбы; мы не государство, но самостоятельны; мы не партия, но в выборах участвуем... Нет, демагогия нам не годится. Наша хитрость – отсутствие хитрости. Мы... Кто это все-таки мы? Старина, это пустой вопрос. Сейчас речь идет о спасении, и не о спасении Крыма, как ты понимаешь... Чтобы участвовать в кровообращении России, надо стать ее частью. Ну хорошо, давай о практическом.

Они еще некоторое время говорили о практическом, а потом замолчали, потому что за стеклом террасы остановились две девки.

Две монпарнаские халды, в снобских линиях туниках, с нечесаными волосами, с диковатым гримом на лицах. Пожалуй, даже хорошенькие, если отмыть. Чернок и Лучников посмотрели друг на друга и усмехнулись. Девчонки прижались к стеклу в вопросительных извивах – ну как, мол, поладим? Лучников показал на часы – увы, дескать, времени нет, ужасно, мол, жаль, мадемуазель, но мы не принадлежим себе, такова жизнь. Девчонки тогда засмеялись, послали воздушные поцелуи и бодренько куда-то зашагали. У одной из них был скрипичный футляр под мышкой.

– Вчера я познакомился с прелестной женщиной, – мягко заговорил Чернок. Он почему-то культивировал мягчайший старомодный стиль в обращении с женщинами, что, впрочем, не мешало ему распутничать напропалую. – Она была восхищена тем, что я русский, – ом совэ-

тик! – и ужасно разочарована, когда узнала, что я из Крыма. «Значит, вы, мосье, не русский, а крымчен?» Мне пришлось долго убеждать ее, что я не сливочный. Многие уже забыли, что Крым – часть России...

– Что твои «миражи»? – спросил Лучников.

Полковник сидел в Париже уже целый месяц, ведя переговоры о поставках модели знаменитого истребителя-бомбардировщика для крымских «форсиз».

– На днях подпишем контракт. Они продают нам полсотни штук. – Чернок рассмеялся. – Полный вздор! К чему нам «миражи»? Во-первых, наши «сикоры» ничуть не хуже, а потом пора уже переучиваться на МиГи... – Он вдруг заглянул Лучникову в глаза. – Мне иногда бывает интересно, нужны ли им такие летчики, как я.

Лучников раздраженно отвел глаза.

– Ты же знаешь, Саша, какой там мрак и туман, – заговорил он через минуту. – Иногда мне кажется, что ОНИ ТАМ сами не знают, чего хотят. НАМ важно знать, чего МЫ хотим. Я хочу быть русским, и я готов даже к тому, что нас депортируют в Сибирь...

– Конечно, – сказал Чернок. – Обратного хода нет.

Лучников посмотрел на часы. Пора было уже рулить к Пляс де Фонтенуа.

– Задержись на три минуты, Андрей, – вдруг сказал Чернок каким-то новым тоном. – Есть еще один вопрос к тебе.

Бульвар Монпарнас чуть-чуть поплыл в глазах Лучникова, слегка зарыбил, запестрел длинными, словно струи дождя, прорехами: что-то особенное было в голосе Чернока, что-то касающееся лично Лучникова, а такой прицел событий лично на него, вне «Движения», стал в последнее время слегка заклинивать Лучникова в его пазах, в которых еще недавно катался он столь гладко.

– Послушай, Андрей, одно твое слово, и я перемену тему... так вот, не кажется ли тебе... – мягко, словно с больным или с женщиной, говорил полковник и вдруг закончил, будто очертя голову: – Что ты нуждаешься в охране?

«Вот он о чем, – подумал Лучников. – О покушении. Вернее, об угрозе покушения. Вернее, о намеках на угрозу покушения. Странно, что я совсем забыл об этом. Должно быть, Танька вымела эту пакость из моей головы. Как это постыдно – быть обреченным, вызывать в людях осторожную жалость. Впрочем, Чернок ведь солдат, он дрался под Синопом, а каждый солдат всегда основательно обречен...»

– Понимаешь ли, – продолжал после некоторой паузы Чернок, – в моем распоряжении есть специальная команда... Они будут деликатно за тобой присматривать, и ты будешь в полной безопасности. Какого черта давать «Волчьей сотне» право на отстрел лучших людей Острова? Ну что ты молчишь? Не ставь меня в идиотское положение!

Лучников сжал кулак и слегка постучал им по челюсти Чернока.

– Снимаем тему, Саша.

– Сняли, – тут же сказал тогда полковник и поднялся.

На этом их встреча закончилась. Через десять минут Лучников уже продирался на арендованном «рено-сэнк» сквозь автомобильные заграды Парижа. При пересечении Сен-Жермен, на Курфюр де Бак, машины еле ползли, и там он смог даже немного помечтать, вернее, погрузиться в воспоминания. Кажется, три года назад он прилетел в Париж на свидание с Таней и снял вот в этом отеле «Пон-Рояль» комнату. Она была тогда в Париже со своей командой на каком-то коммунистическом спортивном празднике – то ли день «Юманите», то ли кросс «Юманите», – и у них оказалось всего два часа для уединения. Вот здесь, на третьем этаже, Таня осыпала его московскими нежностями. «Лапа моя, – говорила она, – прилетел в такую даль ради одного пистончика, лапуля моя». А он был готов ради этого «пистончика» пять раз обернуться вокруг земного шара. Блаженные мысли, ночные воспоминания вновь начисто выветрили из головы покушение. Он уже и прежде замечал, что, начиная думать о Таньке (они

там, в Москве, всю жизнь зовут друг друга Танька, Ванька, Юрка), он сразу забывает всякие пакости. В конце концов, хотя бы для хорошего настроения... В престраннейшем хорошем настроении он выкатился наконец из теснины рю де Бак на набережную и покатил нижней дорогой к Инвалидам. Правый берег Сены был залит солнцем.

И вот мы в атмосфере Юнайтед-Нэйшн-Эджукэйшн-Сайенс-Калча-Организейшн. Конечно же, повсюду звучит музыка, чтобы человек не скучал. Должно быть, главная цель могучей организации международных дармоедов – не дать человеку скучать ни минуты.

В овальном зале изысканнейшего дизайна, с подшагаловскими, а может быть, и самошагаловскими росписями идет заседание какого-то подкомитета или полукомиссии по вопросам мировой статистики.

Лучникову повезло, он угодил прямо на спектакль, который почти ежедневно разыгрывал в ЮНЕСКО крымский представитель Петр Сабашников, тоже одноклассник и старый друг. Крым, естественно, не был членом ООН – СССР никогда не допустил бы такого «кошунства», но в органах ЮНЕСКО активно участвовал, ибо нельзя было себе и представить какую-либо серьезную международную активность без этого активнейшего Острова. Под давлением Советского Союза никто в мире не смел называть Остров тем именем, которое он сам себе присвоил, именем «Крым – Россия», ни одна организация, ни одна страна не решались противостоять гиганту, за исключением совсем уж отпетых, всяких там Чили, ЮАР, Израиля и почему-то Габона. В документах ЮНЕСКО употреблялось обозначение «Остров Крым», но Петр Сабашников на все заседания являлся со своей табличкой «Крым – Россия» и перво-наперво заменял ею унизительную географию капитулянтов. После заседания он всегда уносил эту табличку с собой, чтобы не выбросили.

– Слово имеет представитель Острова Крым господин Сабашников, – сказал председатель полукомиссии или четверть-комитета, когда Андрей Лучников вошел в совершенно пустую ложу прессы.

По проходу к подиуму уже неторопливо шествовал с кожаной папочкой под мышкой Петя Сабашников. Все делегаты с большим вниманием следили за каждой фазой его движения, а на лицах новичков, то есть представителей молодых наций, было написано изумление. Казалось бы, что особенного – идет по проходу очередной оратор? Петя Сабашников, однако, даже из этого простого движения делал великолепный фарс. Сложив бантиком губки, но в то же время строго нахмутив бровки, выставив подбородок с претензией на несокрушимость, но в то же время развесив пухлые щечки, господин Сабашников изображал то ли советского министра Громыко, то ли московского артиста Табакова. Лучников беззвучно хохотал в ладонь. Петя не изменился: погибший в нем актер ежеминутно разыгрывает все новые и новые этюды.

Вот он на трибуне. Каскад сногсшибательной мимики. Ярчайшая улыбка (президент Картер) фиксируется чуть ли не на целую минуту. Затем из кармана с кеханьем, чмоканьем, прочисткой горла и полости рта (генсек Брежнев) извлекаются очки. Легкий поворотец, псевдомечтательный взлядец в сторону, и с «очаговательной кагтавостью» премьера Временного правительства в Крыму Кублицкого-Пиоттуха мосье Сабашников начинает свой спич:

– Господин председатель! Дамы и господа! Дорогие товарищи! Прежде чем приступить к сути дела, я должен внести поправку в протокол ведения нашего собрания. Давая мне слово, уважаемый господин председатель допустил ошибку, назвав меня представителем Острова Крым, между тем как я являюсь представителем организации, официально именующей себя «Крым – Россия». Я просил бы господина председателя и всех господ делегатов принять это во внимание и сделать все для того, чтобы вышеупомянутая ошибка не повторилась.

Лучников после этого заявления разыскал глазами стол советской делегации. Там происходило движение. Весьма гладкий господин – у «советчиков» сейчас более буржуазный вид, чем у «капи», – встал и сделал знак секретарю заседания. Тот привычно кивнул. Все шло как обычно: после всякого выступления представителя «Крыма – России» Советский Союз тут же

делал формальный протест. Все к этому привыкли и относились едва ли не как к формальности юнесковского протокола. Петр же Сабашников, закончив свою традиционную преамбулу, иронически поклонился залу с явным все-таки уклоном к советской делегации, давая понять, что уж кто-кто, но он, П. Сабашников, меньше всего придает значения всему этому вздору: как своему осуществленному уже протесту, так и их, ожидаемому.

– Господа, – перешел теперь Сабашников к существу дела, – в условиях деморализации современного общества статистика подверглась коррозии не менее сильной, а может быть, и более сильной, чем другие социологические дисциплины. Наш долг как участников самой гуманистической дивизии международного синклита наций, – Лучников видел, что Сабашников едва удерживается или делает вид, что едва удерживается от хохота, – наш долг способствовать возрождению доброго имени этой науки как невозмутимого барометра здоровья планеты. Увы, господа, как представитель организации «Крым – Россия», то есть как сын нашего противоречивого времени, я подолью лишь масла в огонь. Я знаю, что я это сделаю, но я не могу этого не сделать. Итак, я держу в своих руках один из недавних номеров журнала «Тайм». В нем опубликована пространнейшая статистическая карта мира, составленная, как сообщает журнал, по данным различных общественных институтов, включая и ЮНЕСКО. Разумеется, я ценю журнал «Тайм» как один из форумов независимой американской прессы, и это дает мне, как я полагаю, право подвергнуть критике некоторые проявления предвзятости в вышеупомянутой статистической карте. Во-первых, что это за уровни свободы, выраженные в процентах? Где обнаружил «Тайм» точку отсчета и по какому праву он переводит священное философское понятие на язык цифр? Во-вторых, я должен указать на неточность всех цифровых данных, касающихся России. Организация «Крым – Россия», разумеется, весьма польщена тем, что «Тайм» выделил нам полную сотню процентов свободы, и в равной степени огорчена тем, что щедротами «Тайма» Советский Союз наделен лишь восемью процентами оной, однако мы в который уже раз заявляем, что все статистические данные «Крыма – России» и Советского Союза должны плюсоваться и делиться на общее количество нашего населения. Вот вам другой пример. В Советском Союзе, по данным «Тайма», приходится восемнадцать с половиной легковых автомобилей на тысячу населения. В нашей организации, которую журнал не удосуживается назвать даже географическим понятием, а именует словечком туристического жаргона «о'кей», оказывается шестьсот пять целых восемь десятых автомобиля на тысячу населения. Господа, если вы в статистических исследованиях используете понятие «Россия», извольте плюсовать данные Советского Союза и организации «Крым – Россия». При этом единственно правильном методе, господа, вы увидите, что Россия на текущий момент истории располагает двадцатью пятью целыми тремя десятками автомобилей на тысячу населения и шестнадцатью процентами свободы по шкале журнала «Тайм». Вот все, что я хотел отметить на текущий момент дискуссии. Надеюсь, что не злоупотребил вашим вниманием. Спасибо.

Сабашников, сама скромность, собрал кое-какие бумажки в папочку и, чуть подхихикивая с неслыханной фальшью, пошел по проходу к своему столу. По дороге он успел сделать пальчиком Лучникову в ложу прессы – дескать, заметил – и бровкой к выходу – выходи, мол, – а также невероятно пластично всем телом выразить полнейшее уважение советскому коллеге, который уже неся по проходу грудью вперед «давать отпор фиглярствующим провокаторам из каких-то никому не ведомых дурно пахнущих организаций, вопреки воле народов представленных на международном форуме наций».

Перед тем как выйти из ложи прессы, Лучников обнаружил, что он замечен советской и американской делегациями. Типусы за этими столами смотрели на него и перешептывались – редактор «Курьера»!

Они встретились с Сабашниковым в дверях зала. Грозный голос летел с трибуны:

– ...Советские люди гневно отвергают псевдонаучные провокации буржуазной прессы, не говоря уже о глумливых подковырках фигляров из каких-то никому не ведомых, дурно па-

живающих организаций, вопреки воле народов представленных на международном форуме наций!

– Старается Валентин, – покачал головой Сабашников. – А вот там, где надо, пороха у него не хватает.

– Где же? – Лучников глянул уже через плечо на изрыгающий штампованные проклятья квадратный автомат. Удивительно, что эта штука еще и Валентином называется.

– Мы с ним в паре играли утром в теннис против уругвайца и ирландца, – пояснил Сабашников. – Продулись, и все из-за него.

Они вышли. Все трепетало под солнцем.

– Какой могла бы быть жизнь на земле, если бы не наши дурные страстишки, – вздохнул Сабашников. – Как мы запутались со дня первого грехопадения.

– Вот что значит дух ЮНЕСКО, – усмехнулся Лучников.

– Вот ты смеешься, Андрей, а между тем я собираюсь постричься в монахи, – проговорил Сабашников.

– Прости, но напрашивается еще одна шутка, – сказал Лучников.

– Можешь не продолжать, – вздохнул крымский дипломат. – Знаю какая.

В лучниковской «груше» они отправились на Сен-Жермен-де-Пре.

Пока ехали, Лучникову удалось все же сквозь непрерывное фиглярство Петяши выяснить, что тот проделал за последнее время очень важную работу, прояснял позиции Союза и Штатов в отношении Крыма.

– Ну, у Совдепа ясность прежняя – туман, а вот что касается янки, то у них определенно торжествует теория геополитической стабильности этого, ты его знаешь, Андрюша, типчика Сонненфельда, то есть, Андрюша, им как бы насрать на нас с высокого дерева, и дважды о'кей.

Оказалось также, что Сабашников и другого задания за своими «этюдами» не забыл: генерал Витте ждет их ровно в пять.

– Старик является родственником, впрочем не прямым, а весьма боковым, премьера Витте. Эвакуировался с материка в чине штабс-капитана. Остался в строю и очень быстро получил генеральскую звезду. К 1927 году он был одним из самых молодых и самых блестящих генералов на Острове. Барон его обожал: известно ведь, что, несмотря на ежедневный православный борщ, Барон сохранил на всю жизнь ностальгию к ревельским сосискам. Не подлежит сомнению, что еще год-другой, и молодой фон Витте стал бы командующим ВСЮР (Вооруженные Силы Юга России), но тут его бес попутал, тот же самый бес, что и нас всех уловил, Андрюша, – любовь к ЕДИНОЙ-НЕДЕЛИМОЙ-УБОГОЙ и ОБИЛЬНОЙ-МОГУЧЕЙ и БЕССИЛЬНОЙ, то есть, ты уж меня прости, любовь к ЕНУОМБ, или, по старинке говоря, к матушке-Руси, что в остзейской башке еще более странно, чем в наших скифославянских. Короче говоря, генерал примкнул к запрещенному на Острове «Союзу младороссов», участвовал в известном выступлении Евпаторийских гвардейцев и еле унес ноги от контрразведки в Париж. Когда же в тысяча девятьсот тридцатом наши, Андрюша, родители установили ныне цветущую демократию и отправили Барона на пенсию, фон Витте почему-то не пожелал возвращаться из изгнания и вот смиренно прозябает в городке Парижске вплоть до сегодняшнего дня. Мне кажется, что с ним произошло то, к чему сейчас и я подхожу, Андрей, к духовному возрождению, к отряхиванию праха с усталых ног грешника, к смирению внемлющего... – Голос Сабашникова, достигнув звенящих высот, как бы осекся, как бы заглох в коротком артистически, очень сильном и невероятном по фальши рыдании. Он отвернул свою светлую лысеющую голову в открытое окно «рено» и так держал ее, давая тихим прядям развеваться, давая Лучникову возможность представить себе слезы тихой радости, глубокого душевного потрясения на отвернувшемся лице.

– Чудесно вышло, Петяша, – похвалил Лучников. – Талант твой мужает.

– Ты все смеешься, – тонким голосом сказал Сабашников, и плечи его затряслись: не поймешь – то ли плачет, то ли хихикает.

– Что касается фон Витте, то я думаю, что на Остров он не вернулся, потому что не видел в наших папах союзников. Меня сейчас интересует одно – действительно ли он встречался со Сталиным и что думал таракан о воссоединении.

– Однако я должен тебя предупредить, что старик почти полностью «ку-ку», – сказал Сабашников.

Лучникову удалось с ходу нырнуть в подземный паркинг на Сен-Жермен-де-Пре, да и местечко для «груши» – экое чудо! – нашлось уже на третьем уровне. А вот «мерседесу», который следовал за ними от пляс де Фонтенуа, не так повезло. Перед самым его носом из паркинга как чертик выскочил служащий-негритос и повесил цепь с табличкой «Complet». Водитель «мерседеса» очень было разнервничался, хотел было даже бросить машину, даже ногу уже высунул, но тут увидел выходящих из сен-жерменских недр двух симферопольских денди, и нога его повисла в воздухе. Впрочем, путь джентльменов был недолог, от выхода из паркинга до брассери «Липп», и потому нога смогла вскоре спокойно вернуться в «мерседес» и там расслабиться. Успокоенный водитель видел, как двое зашли в ресторан и как в дверях на них с объятиями набросился толстенный, широченный и высоченный американец.

Джек Хэлоуэй в моменты дружеских встреч действительно напоминал осьминога: количество его распростертых конечностей, казалось, увеличивалось вдвое. Объятия открывались и закрывались, жертвы жадно захватывались, притягивались, засасывались. Все друзья казались миниатюрками в лапах бывшего дискобола. Даже широкоплечий Лучников казался себе балеринкой, когда Октопус соединял у него на спине свой стальной зажим. На какой-то олимпиаде в прошлые годы – какой точно и в какие годы, история умалчивает – Хэлоуэй завоевал то ли золотую, то ли серебряную, то ли бронзовую медаль по метанию диска или почти завоевал, был близок к медали, просто на волосок от нее, во всяком случае, был в олимпийской команде США, или числился кандидатом в олимпийскую команду, или его прочили в кандидаты, во всяком случае, он был несомненным дискоболом. Спросите любого завсегдатая пляжей Санта-Моники, Зума-Бич, Биг-Сур, Кармел, и вам ответят: ну конечно, Джек был дискоболом, он получил в свое время золотую медаль, он и сейчас, несмотря на брюхо, забросит диск куда угодно, подальше любого университетского дурачка. Впрочем, что там спорить о медали, если нынче имя Хэлоуэя соединяется с другим золотом, потяжелее олимпийского, с золотом Голливуда. В последние годы на студии «Парамаунт» он запустил подряд три блокбастера. Начал, можно сказать, с нуля, с каких-то ерундовых и слегка подозрительных денег, с какими-то никому не ведомыми манхэттенскими умниками Фрэнсисом Букневски и Лейбом Стоксом в качестве сценариста и режиссера, однако собрал Млечный Путь звезд, и даже несравненная Лючия Кларк согласилась играть ради дружбы со всеобщим любимцем, сногшибательным международным другом, громокипящим романтиком, гурманом, полиглотом, эротическим партизаном Джеком Хэлоуэем Октопусом. И не просчиталась, между прочим, чудодива с крымских берегов: первый же фильм «Намек», престраннейшая лента, принесла колоссальный «гросс», огромные проценты всем участникам, новую славу несравненной Лючии. Последующие два фильма «Проказа» и «Эвридика, трэйд марк» – новый успех, новые деньги, мусорные валы славы...

– Андрей и Пит! – приветствовал знаменитый продюсер вновь прибывших в дверях «Липпа». – Если бы вы знали, какое счастье увидеть ваши грешные рожи в солнечных бликах, в мелькающих тенях Сен-Жермен-де-Пре. Ей-ей, я почувствовал ваше смрадное дыхание за несколько тысяч метров сквозь все ароматы Парижа. Тудытменярастудыт, мне хочется в вашу честь сыграть на рояле, и я сыграю сегодня на рояле в вашу честь, фак-май-селф-со-всеми-потрохами.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.